

Возвращение Пиковой дамы

Введение

Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама», опубликованная во 2-м номере «Библиотеки для чтения» за 1834 год была с восторгом принята читателями. «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семёрку, туза» записал Пушкин в своем дневнике в апреле 1834 года.

Считается, что сюжет «Пиковой дамы» был подсказан Пушкину молодым князем Голицыным, который, проигравшись, вернул себе проигранное, поставив деньги по совету бабки на три карты, некогда подсказанные ей Сен-Жерменом. Эта бабка – известная в московском обществе «усатая княгиня» Наталья Голицына, мать московского губернатора Дмитрия Голицына.

Да и сам Пушкин был страстным игроком, выигрывал и проигрывал немалые суммы.

Повесть писалась Пушкиным осенью 1833 года в Болдине и породила множество разговоров, споров, толков о действительных лицах, послуживших прототипами, и породила слухи о неясных смысловых ходах, скрытых Пушкиным.

Предлагаемая повесть использует оставленные им нити и пробелы, чтобы связать их в цельный узор, развивая судьбу Германа после роковых событий, описанных Пушкиным.

Наверное, каждый читатель «Пиковой дамы» хотя бы раз спрашивал себя: а что стало с Германом после того, как он оказался в Обуховской больнице? Что стало с Лизой? Кто был тот загадочный камергер, говоривший об «её побочном сыне»? Какие отношения были у графини с Сен-Жерменом? Как мог Герман ошибиться и вынуть из своей колоды вместо туза пиковую даму? Оставила ли графиня завещание?

Наверное, не все читатели знают азартную карточную игру «Фараон», пришедшую тогда в Россию с Запада. Хотя набор карт: тройка, семерка, туз дают в сумме 21, игра «Фараон» заметно отличается от игры «Очко». Игрок из своей колоды достает карту и кладет ее на стол картинкой вниз, то есть ее никто не видит. Рядом кладет деньги. Банкир тасует свою колоду и начинает сверху открывать карты, кладя их по очереди на две стопки: налево – выигрыш банка, направо – выигрыш игрока. Когда направо лег туз, Герман закричал: – Выиграл! Он поднял со стола свою карту, открыл ее, но это оказался не туз, а пиковая дама. Как он мог спутать карту? Из-за этого Герман и сошел с ума.

Меня эти вопросы преследовали многие годы. И однажды я понял: Пушкин оставил слишком много незавершённых линий, чтобы на этом можно было остановиться. Так возникла эта повесть – желание войти в его мир и прислушаться к тем голосам, которые ещё звучат после последней строки повести. Герман, графиня, Лиза, Сен-Жермен, Чекалинский – каждый из них, как оказалось, хранит тайну, о которой Пушкин лишь намекнул.

И я попытался раскрыть то, что осталось за пределами пушкинского текста, как могло бы быть в мире, где тайны никогда не умирают, и пролить свет на некоторые обстоятельства, о которых Пушкин умолчал – возможно, не желая тревожить ещё живых участников описанных событий.

Вместо пролога

(Краткое содержание повести Александра Пушкина «Пиковая Дама»)

Действие повести Александра Пушкина «Пиковая дама» происходит в Петербурге, в офицерской среде в первой половине XIX века. В самом начале читатель попадает на карточную игру у конногвардейца Нарумова. За столом сидят офицеры, среди них – Томский, Сурин и молчаливый военный инженер Герман. Все играют, смеются, спорят, только Герман не берёт карт в руки: он страстно любит игру, но боится рисковать.

После ужина разговор заходит о невероятных карточных удачах. Тогда Томский рассказывает историю о живущей в Петербурге, старой графине. В молодости, в Париже, она проиграла огромную сумму, но загадочный граф Сен-Жермен открыл ей тайну трёх верных карт, которые приносят выигрыш. С их помощью графиня спаслась от разорения. Секрет этот она хранила всю жизнь и никому не открывала.

Рассказ Томского производит на Германа ошеломляющее впечатление. Он – бедный офицер, одержим мечтой о богатстве. С этого вечера мысль о тайне трёх карт становится его навязчивой идеей. Герман узнаёт, что при старой графине живёт её компаньонка Лиза. Он начинает ухаживать за ней не из любви, а из расчёта – чтобы с её помощью проникнуть в дом. Он пишет Лизе страстные письма, клянётся в любви, изображает отчаяние. Одинокая девушка верит ему и устраивает в доме тайное свидание.

Ночью Герман пробирается в дом и проникает в спальню графини. Он падает перед ней на колени, умоляет открыть тайну трёх карт. Графиня молчит. Тогда Герман в отчаянии направляет на старуху пистолет, и она умирает, так и не сказав ни слова.

Ночью призрак графини является Герману во сне и называет ему заветные карты: тройка, семёрка, туз. Она прощает его при условии, что он женится на Лизе, после чего исчезает. Герман принимает это видение, как истину и уже думает только об игре.

Вскоре он появляется в богатом карточном доме опытного игрока Чекалинского, где играют во французскую карточную игру «Фараон». В первый вечер он ставит всё на тройку – и выигрывает. На другой день он ставит все на семёрку – и снова выигрывает огромную сумму. Весть о чудесном игроке быстро распространяется в свете. Даже Сурин, который всегда играл без удержу и без расчёта, поражён холодной уверенностью Германа.

На третий вечер Герман ставит всё на туза. Туз выигрывает, Герман с возгласом «Выиграл!» показывает свою карту – но у него в руке вместо туза оказывается пиковая дама. Герман проигрывает всё своё состояние. Ему чудится, что с карты на него смотрит и усмехается лицо старой графини. Он сходит с ума и его помещают в Обуховскую больницу, в палату номер 17, где он твердит одни и те же слова: «Тройка, семёрка, туз... Тройка, семёрка, дама...»

Конец повести.

Глава 1. Обуховская больница

Обуховская больница, в которую отправили Германа с анализом – душевнобольной, находилась на 7-й линии Васильевского острова. Туда его отвезла больничная карета, вызванная Чекалиным после того, как Герман во время игры вышел из себя и, глядя на карту, закричал «Старуха!».

Это было большое каменное здание тёмно-серого цвета, выходящее окнами на пустынный двор, больше похожее на тюрьму, чем на лечебницу. Низкие потолки, узкие проходы, решётки на окнах – всё напоминает об изоляции и безнадёжности. В коридорах пахнет лекарствами, сыростью и хлоркой. Топчаны для больных, охранники при дверях, редкие впалые лица пациентов, прогуливающих вдоль стен, – атмосфера тягостного ожидания.

Небольшая и холодная палата номер семнадцать находилась в крыле для душевнобольных. Стены побелены грубо, местами известка осыпалась. Окно высоко под потолком, с толстой железной решёткой; свет проникает узкой полосой. У стены стоит узкая железная кровать Германа с жестким тюфяком, грубой шерстяной простынёй и пледом казённого вида. Рядом – маленький столик, на котором лежат лекарства, и стоит жестяная кружка. В углу – икона в тёмном углублении стены: больные часто просят оставить её, надеясь на утешение.

В палате тихо, но каждый звук извне – шаги по коридору, хлопанье дверей, крики других пациентов – слышен особенно остро. Эта тишина и звуки, словно эхом, только усиливали болезненную сосредоточенность Германа, его внутренний бредовый мир.

Он не знает, как его зовут.

Он не знает – кто он.

Он не знает – где он находится.

Дни тянулись как бесконечный сон: его поили горьким снадобьем, от которого мысли растворялись, а память рассыпалась, словно сухие листья под ветром. Когда дверь тихо отворялась, он всякий раз сначала слышал шаги, потом уже различал фигуры.

Доктор Шнейдер входил почти неслышно, точно скользил по полу. Маленький, сухой немец с круглым, как выточенным, лбом, носил аккуратные золотые очки, которые всё время сползали к кончику носа. Его сюртук был неизменно застёгнут на все пуговицы, движения – скупые, почти машинальные. Он говорил мягко, с едва заметным акцентом, избегал громких слов и никогда не глядел прямо в глаза дольше мгновения – словно щадил их. Он трогал запястье Германа холодными пальцами, смотрел на часы, задавал два-три коротких вопроса, делал пометку в тетради и уходил так же тихо, как входил.

Дежурный фельдшер был полной его противоположностью – высокий, плечистый, с красноватым лицом и усталыми, но живыми глазами. Он входил шумно, с лязгом ставил поднос с едой, вздыхал, бранился вполголоса на сквозняки, что гуляли по коридорам. В его голосе было что-то домашнее, почти грубоватое, но надёжное. Иногда он позволял себе короткое слово к больному:

– Терпите, батюшка... скоро полегче будет.

Утром и под вечер появлялся санитар. Невысокий, широколицый, с прижатыми ушами, он двигался неловко, но осторожно, будто всё вокруг мог повредить. Он мыл пол, менял судно, поправлял одеял. От него пахло водой, мылом и табаком. Он ничего не говорил лишнего, но иной раз, накрывая Германа, задерживал руку на краю одеяла на лишнюю секунду – жест неловкой, почти стыдливой жалости.

Больница жила своей особенной жизнью – неторопливой, вымеренной шагами, часами, тяжёлым дыханием спящих и далёким эхом колокольчиков из коридора.

Но в палате Герман был не один.

Вторая кровать стояла у стены напротив Германа – такая же узкая железная койка, под которой санитар хранил ночной горшок и пару потрёпанных войлочных туфель. На этой койке лежал его сосед Александр Платонович Туров – сумасшедший декабрист, человек лет сорока пяти, худощавый, высокий, с густой седой прядью в чёрных волосах и резкими чертами лица.

Его звали по-разному – кто «капитаном», кто «заговорщиком», кто просто «политическим». Никто не знал, был ли он действительно участником событий 1825 года или лишь вообразил себя таковым; но он всегда называл себя «Узником Государевой немилости».

Он проводил дни, сидя на кровати ровно и прямо, как на плацу, с заложенными за спину руками. Часто маршировал по комнате, отсчитывая шаги шёпотом, словно на Сенатской площади. Писал что-то на столе пальцем – будто невидимыми чернилами выводил приказы, прокламации, письма к Трубецкому. Его тихий, упорный монотонный говор – «Братство... честь... свобода... рядиться в шинели...» – часами звучал в тесной палате, странно сочетаясь с невнятным бормотанием Германа о трёх картах.

Иногда он обращался к Герману как к «солдату», требуя доклада. Порой – как к «юному посланцу», будто доверяя ему тайны будущего восстания. А порой стоял у окна, с достоинством, затягивая пояс на воображаемом мундире, произносил:

– Мы проиграли, потому что действовали слишком честно. Победят те, кто действует хладнокровно.

Санитары относились к нему с особой осторожностью: не буйный, не опасный, но внезапно способный расплакаться, узнав стук ключей в коридоре – «арестанты идут».

Его присутствие делало палату не просто больничной камерой, а местом, где две разные формы безумия – безумие Германа и мания величия «декабриста» – сталкивались и отражались друг в друге, создавая странное, почти мистическое напряжение.

Часто соседа навещала дочь, и Герман слышал сквозь сон её едва различимый голос.

Глава 2. Лиза

В тот день дверь палаты тихо скрипнула, и в комнату вошла молодая женщина. На ней было простое тёмное платье, в руках – шерстяная шаль. Лёгкий морозный румянец сиял на её щеках. Она остановилась у входа.

– К вам, – сказал дежурный фельдшер соседу, подвигая ей стул. – Ваш отец сегодня ждал вас. А второй... да Бог с ним. Больной он. Имени своего не помнит. Пустая голова.

Женщина кивнула и подошла к соседней койке.

Но едва её взгляд скользнул по бледному лицу Германа, она остановилась. Машинально прижала шаль к груди. Затем медленно, как во сне, подошла ближе.

– Кто это? – спросила она почти шёпотом, не отрывая глаз.

– Да говорю же – не знает он, – проворчал фельдшер. – То ли сирота, то ли беглый, то ли просто безумец. Бумаги при нём не было. Всё время спит.

Женщина проглотила подступивший к горлу комок, и вернулась к отцу.

Герман сквозь полусон услышал, как женский голос сказал:

– Здравствуй, папа. А я тебе принесла пару апельсинов. Как ты поживаешь.

– Неплохо. Какие у тебя новости? Как твоя графиня?

– Папа, графини уже нет. Пару дней назад ее отпели в монастыре.

– Значит, ты потеряла работу?

– Не совсем. После похорон ее поверенный прочитал завешание.

– И она тебя не забыла?

– Не забыла. Но, главное, она поручила мне интересную работу. У доверенного хранится ее архив, дневники, письма, документы. Она поручила мне привести это все в порядок и вернуть ему, чтобы опубликовать через сто лет. Она написала в завещании, что надеется на мой такт и просит изъять материалы, порочащие ее достоинство. Жить и работать я буду в ее доме. Как за тобой уход? Мы внесли в больницу солидную сумму на твоё содержание.

– Живу как на курорте. Обед с вином, хорошая библиотека, Новый год встречали с Дедом Морозом и снегурочкой. Что ещё желать человеку, избежавшему ссылки в Сибирь? Но монархия себя изжила, наше общество не погибло, в его недрах зреет новый замысел...

– Папа, перестань. Ты дал слово, что не будешь больше говорить о политике. У тебя появился новый сосед? Он притворяется, что спит, а завтра донесет в третье отделение. Папа, кто он?

– Какой-то псих. Весь день спит и даже имени своего не помнит. И на все мои вопросы отвечает «Тройка, семерка, туз!» «Тройка, семерка, дама».

– Папа, я его знаю, его зовут Герман.

Слово прозвучало тихо, почти беззвучно, но в тишине палаты оно отразилось, будто удар о хрустальную стеклянную стенку.

На койке Герман едва заметно шевельнулся. Его брови дрогнули. Веки, опущенные тяжёлым опиумным сном, приподнялись на долю мгновения.

Она подошла ещё ближе.

– Это Герман... – повторила она, уже не сомневаясь, и в глазах её блеснули слёзы. – Он... он знаком мне. Я знаю его.

И снова – имя.

Герман.

Герман.

Как будто кто-то стучал в дверь его умирающей памяти, стараясь разбудить забытое. Туман, много дней застилавший его сознание, дрогнул. В глубине его разума что-то зашевелилось, болезненно, остро. Слово, которое он не мог удержать, словно искра, вспыхнуло и осветило черноту.

Герман... Это обо мне... обо мне... Губы его дрогнули. Под веками метнулось беспокойное движение. Он словно пытался сказать что-то, но язык не слушался.

Женщина – Лиза – наклонилась к нему, не веря ещё в чудо, но ощущая его приближение всем существом.

– Герман... вы слышите меня... – прошептала она.

И вдруг – как будто тяжёлая дверь сорвалась с петель – в сознании Германа открылось окно. Он вспомнил комнату графини. Он вспомнил карты. Он вспомнил тот ужасный миг, когда старая женщина молчала, глядя на него пустыми глазами. Он вспомнил, как Лиза плакала в коридоре. Он вспомнил ночной снег, скрип шагов, безумные мысли о богатстве, о судьбе, о роке. Он вспомнил падающую карту. И свой крик. Всё вернулось – разом, мучительно, обжигающе. Герман резко открыл глаза. Его грудь вздрогнула, он попытался подняться, но руки его были слишком слабы.

– Лиза... – прошептал он. – Это... вы?..

Лиза опустила на край койки. Он смотрел на неё расширенными глазами, как человек, возвращённый из бездны.

– Да, – шепнула она. – Это я. Вы меня узнали?

Он закрыл глаза – и по его лицу прошла судорога.

– Я... всё вспомнил... – прошептал он. – Господи... всё...

И слёзы выступили у него на ресницах.

Лиза тихо взяла его руку – холодную, слабую – и он, словно ребёнок, вцепился в нее. – –
– Имя, – сказал он едва слышно. – Имя разбудило меня.

Лиза наклонила голову, и тень от её ресниц упала на его лицо. – Герман, – сказала она тихо. – Вы снова с нами.

– Лиза! Если есть Бог, то он привел вас сюда, чтобы вернуть мне память. Я перед вами страшно виноват, я это знаю и потрачу полжизни, чтобы получить прощение.

– А на что вы потратите вторую часть жизни?

– На то, чтобы сделать вас счастливой! Какой я был слепец, пройти мимо вас за несбыточной удачей! Поверил, что три карты подарят мне несметное богатство. А несметное богатство хранится в вас. В ваших прелестных глазах, В вашем необыкновенном уме! В вашем добром сердце.

– Герман, я и не подозревала, что вы такой отчаянный ловелас. Признайтесь, сколько женщин вы совратили?

– Не признаюсь.

– Тогда вот вам один апельсин. Теперь, я буду приходить – к вам двоим. А мне пора
Лиза поцеловала отца.

– А меня? Я ведь поцеловал вас в тот вечер у графини.

– Герман, если вы будете вспоминать тот зловещий вечер, я отберу у вас апельсин. До свидания.

Глава 3. Клуб Чекалинского

Вечером в палате состоялся следующий разговор.

– Дорогой Герман, а как ты попал в эту ... обитель? Спрятать какой-то грешок? Обобрал старую вдову? Ограбил банк? Мне можешь сказать, я буду нем, как рыба!

– Обдернулся в карты.

– О, тогда это серьезно. Виконт Голицын, проигравшись в каты, застрелился. Значит, от тебя отвернулась удача. В каком клубе?

– В клубе Чекалинского.

– У Чекалинского? Да, этот, говорят, миллионер многих оставил без штанов. Значит, ты – игрок?

– Я – не игрок и им никогда не был. Просто мне приснилась старая графиня, которая пообещала, что я легко разбогатею, если буду ставить на кон три карты.

– Тройку, семерку и туз?

– Откуда ты знаешь?

– Слышал от тебя. Когда тебя привезли, на все вопросы ты отвечал: тройка, семерка, туз.

– Я поверил в эту мистику, отправился в клуб Чекалинского, где играли в Фараона, решив гнуть по-крупному. Ты знаком с той игрой?

– Знаком.

– Вынув из своей колоды тройку, положил ее на стол, а рядом ставку – 47 тысяч.
Чекалинский стал метать банк, моя тройка выиграла, и я ушел домой с 94 тысячами.

– Но ты сказал, что проигрался.

– Я пришел на следующий день, положил на стол семерку и все деньги. И, опять, моя семерка выиграла!

– И ты не остановился.

– Как я мог остановиться? Секрет графини работал! Я пришел на третий день, решив выиграть сонника, положил на стол бубновый туз и опять все деньги. Собралось много зевак. Чекалинский стал метать банк, и туз выиграл? Я был вне себя от радости. Поднял свою карту и закричал, туз выиграл! А он посмотрел на меня так ласково и сказал, ваша дама бита! Забрал все

мои деньги и спел: «Кто испытал судьбу друга? Сегодня – ты, а завтра – я...» Я держал в руке на туза а Пиковую даму!

– А дальше так: «Ловите миг удачи, и пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!»

– Откуда ты знаешь?

– Где-то слышал. Может быть даже в Париже, не помню. И что было дальше?

– Я смотрю на свою карту, у меня в руке на туз, а пиковая дама! Как я мог ошибиться? Я военный инженер, делаю сложные расчеты, никогда не ошибался. Какое-то наваждение! Я смотрю на пиковую даму, мне кажется, что это старая графиня смотрит на меня с насмешкой, и я закричал, старуха! И больше ничего не помню.

– Очень странная история.

– Более, чем странная. Как я мог ошибиться?

– Герман, дружок, а не пришло тебе в голову, что ты не ошибся?

– Что ты имеешь в виду?

– Я имею в виду, ты действительно положил на стол бубнового туза.

– И он превратился в пиковую даму? Этого не может быть. Я не верю в мистику.

– Я тоже не верю в мистику. Твою карту на столе просто подменили.

– Подменили? Не может быть, карта лежала передо мной, да и за столом сидели игроки, как могли незаметно подменить мою карту?

– А этого я не знаю. Да, в нашей жизни много непонятного. Вот такая, брат, история.

Ладно, давай будем спать.

На следующее утро в палату вошел доктор Шнейдер.

Герман сидел на своей койке, аккуратно одетый, причесанный – санитар давно не видел его таким спокойным. На соседней кровати декабрист торжественно перетирал пуговицы своего воображаемого мундира, время от времени покашливая.

Доктор подошел к Герману.

– Ну-с, милостивый государь, приступим. – Он достал из кармана блокнот. – Гм... Какое сегодня число?

– Восьмое февраля, – ответил Герман спокойно.

– А год?

– Тысяча восемьсот тридцать второй

Доктор слегка кивнул, помечая что-то в тетради.

– Сколько вам лет?

– Двадцать пять.

– Вы помните дату своего рождения?

– 16 февраля 1807 года.

– Ваше имя, отчество?

– Герман Иванович.

Доктор взглянул испытующе:

– А где вы сейчас находитесь?

– В... – Герман сделал паузу, ровную и естественную. – В Обуховской больнице, палата семнадцатая.

При этих словах сосед на соседней койке вдруг выпрямился и громко произнёс:

– Господин доктор, палата – это казарма, а больница – временное заключение!

Доктор, не оборачиваясь, сухо сказал:

– Да-да, капитан, благодарю, продолжайте служить отечеству.

Декабрист важно кивнул и замолчал.

Доктор подошёл ближе к Герману:

– Сложите семь и девять.

– Шестнадцать.
 – Сосчитайте от двадцати назад.
 – Двадцать... девятнадцать... восемнадцать... – Герман произносил ровно, не торопясь, – ...четырнадцать... тринадцать...
 – Достаточно.
 Доктор медленно снял очки, протёр их платком и посмотрел на Германа уже внимательнее, человечески:
 – Помните ли вы, сударь, что вас привело сюда?
 Герман спокойно поднял глаза.
 – Да... я был нездоров умом. Меня мучили... воображения. Теперь прошло.
 Он произнёс это так тихо и просто, что декабрист, слушавший, одобрительно буркнул:
 – Крепитесь! Молодцом, подпоручик!
 – Бывают ли у вас сейчас... необычные видения? Сны?
 Он внимательно всмотрелся в глаза Германа.
 Герман выдержал взгляд.
 – Нет, доктор. Теперь – никакие. И карты меня больше не тревожат.
 На слове карты рука декабриста дрогнула, он вскинул голову:
 – Карты? Это заговор! Всенародное зло!
 – Спасибо, капитан, – снова ровно ответил Шнейдер, – заговор мы уже раскрыли.
 Он закрыл блокнот.
 – Что ж, господин Герман, состояние ваше признаю удовлетворительным. Сегодня вас выпишут. Только дайте мне честное слово, что больше карты в руки не возьмете.
 Герман чуть кивнул, не выказывая ни радости, ни тревоги – только усталое какое-то облегчение скользнуло по лицу.
 – Даю.
 А его сосед-декабрист торжественно поднял руку и сказал:
 – Поздравляю с освобождением, товарищ! Желаю на воле не преступить чести!
 Санитар принес мешок с одеждой.
 – Переоденьтесь, ваше благородие, сегодня вы выходите на волю. В приемном покое вас уже ждут.
 – Прощайте, господин Туров, – Герман обнял соседа.
 – Не прощайте, а до свидания, у меня, между прочим, красавица дочка. А вы ведь не женаты? Вот мой адрес.
 Герман медленно собирал свои вещи: грубую больничную одежду он уже обменял на прежний сюртук и жилет, аккуратно уложил перчатки и достал шляпу.
 В коридоре его ждал Томский, ровный, сдержанный, в слегка затёртом сюртуке, с ключами и платком в руке. Он был рад видеть Германа в ясном уме, но держал привычную, лёгкую настороженность, будто это всё ещё могло быть ловушкой для его нервов.
 – Ну что, дорогой Герман, – сказал он спокойно, – вы готовы отправляться домой?
 – Да, – ответил Герман тихо. – Кажется, я... готов. А куда мы поедём?
 – Друзья сохранили вашу комнату, все время мы платили за неё, пока вы... – он слегка замялся, – пока вы находились на лечении. Всё как прежде, никто не нарушал порядок. Ваш денщик уволен, но если потребуется он вернется. На работу сообщили, что вы заболели.
 По дороге они молчали, не давая разговору о прошлых событиях вспыхнуть с прежней остротой. Томский терпеливо ждал, а Герман собирался с мыслями.

Глава 4. Вот такая история

Герман открыл дверь своей комнаты.

– Как я рад вернуться домой! Павел, посмотри, какая у меня прекрасная комната!

– Обычная комната. Конечно, после больничной палаты это выглядит, как рай. Герман, я должен уйти, меня ждет молодая жена, ты знаешь, я женился. И тебе, брат пора обзавестись семьей. Тебе нравится Лиза?

– Подожди. Я сбегая за кипятком, и мы выпьем чаю. Я должен рассказать тебе что-то очень важное.

– Именно сейчас?

– Именно сейчас. Присядь. Я зажгу печь, а то мы околеем. В палате у меня был сосед.

– Я знаю. Это к нему приходила Лиза.

– Да. Так вот, я рассказал ему о последней игре, и как вместо туза у меня в руке оказалась пиковая дама. Я спросил его, как я мог ошибиться? Моя работа связана с чертежами и расчетами, и я никогда не ошибался. Как я мог ошибиться? И знаешь, что он сказал? Он сказал: «А тебе не приходило в голову, что ты не ошибся?»

– Не ошибся? Что он имел в виду?

– Что карту подменили.

– Это не могло быть! Карта лежала перед тобой, а вокруг стола сидела дюжина игроков. Это бы обязательно заметили.

– Секунду подожди, у меня все в горле пересохло, я сбегая к хозяйке за кипятком, и мы выпьем чаю.

Когда Герман вернулся с чайником, Томский сидел в глубоком раздумье.

– Конечно, шулерство в картах не редко... А, что это за колода лежит у тебя на столе?

– Это та самая талья, что была у меня во время той игры. Я ее машинально сунул в карман сюртука.

– Ты сказал, что вынул из колоды бубнового туза. Ты это хорошо помнишь?

– Конечно. Что я, не отличу туза от дамы?

– Тогда в этой колоде не должно быть бубнового туза. Это мы сейчас и проверим.

Выберем бубновую масть. Да, есть все карты кроме туза. Любопытно! Тогда откроем пиковую масть. Дама на месте. Герман, ты прав, твою карту подменили. Но кто это сделал и как?

Послушай, завтра я жду тебя к себе в семь вечера. Я приглашу Нарумова и Сурина, они были за столом в тот вечер, и мы все спокойно обсудим. А сейчас я побегу. Будь здоров, вот такая история!

– Спасибо, тебе за помощь, я этого никогда не забуду, друзья познаются в беде.

– У тебя есть какие-то просьбы?

– Я хотел бы встретиться с одной особой...

– С Лизой?

– Откуда ты знаешь?

– Я видел, какими глазами ты смотрел на нее там в больнице. Я попрошу и жена устроить этот визит. Она пригласит Лизу к нам на чай, и ты придешь.

Он пожал Герману руку и исчез.

Герман снова осмотрел свое жилище.

Он снимал скромную меблированную комнату на втором этаже старого доходного дома, выходившего окнами на темный, всегда сыро пахнувший двор-колодец. Комната была узкая, вытянутая, с низким потолком – типичное жильё для небогатого отставного или провинциального офицера, студента, мелкого чиновника.

Мебель была дешёвая, разношёрстная, вероятно, оставшаяся от прежних жильцов. У окна – небольшой письменный стол, на котором лежат его военные карты, линейки, циркули и

аккуратные стопки бумаг. Стопка писем, пришедших в его отсутствие. Рядом – канделябр на две свечи, наполовину истаявшие огарки, которого тонули в стеарине.

В углу – узкая кровать с жёстким тюфяком, покрытая серым солдатским одеялом; у стены – старый шкаф, который скрипел при каждом движении и всегда был заперт: Герман не любил, когда кто-то трогал его вещи; перед кроватью – стираная до белизны штофная циновка, которую он аккуратно выбивал сам: служанок он не приглашал – он вообще никого не любил подпускать к себе.

Зимой от окна тянуло сквозняком; днём здесь было полутемно даже в солнечные часы – двор-колодец почти не пропускал света.

Здесь он часами сидел над своими расчётами, раскладывал колоду карт в схемы, будто производил военные манёвры, иногда вставал и ходил взад-вперёд, задевая плечом стену.

Комната почти не изменилась. На столе стояла пустая чернильница, засохшая, как будто сама чернила в ней умерла. Канделябр потемнел; огарки свечей расплылись, сползли, как будто страдали.

На подоконнике стоит пузатая бутылка с выцветшей бумажной этикеткой. Мадера. Дешёвая, терпкая, та, которую покупают в крайних случаях – чтобы согреться, осмелеть или забыться. Герман купил её в тот самый вечер перед игрой, но так и не допил. Рядом – недопитый бокал: вино потемнело, как старый лак, на дне проступили мутные осадки. Герман долго смотрел на бокал, будто решал, чей это жест – его ли прошлого, или чужой руки, тронувшей здесь всё, пока он лежал в Обуховской больнице.

Он взял бокал. Запах был резкий, горячий, с тяжёлой сладостью, от которой першило в горле. Он поднёс его к губам. Сделал глоток – вино оказалось тёплым, густым, почти маслянистым. Сделал ещё один – и допил. Бокал звякнул о подоконник. На миг Герман почувствовал жар в груди – как будто кусочек прежнего себя вернулся, но тут же исчез, оставив лишь горькое послевкусие.

На стене над умывальным столиком – небольшое, потемневшее от времени зеркало в деревянной раме – кривоватое стекло, в котором отражение всегда казалось чуть-чуть искажённым, как будто смотрел на тебя другой человек.

Герман подошёл ближе. Сначала – будто случайно, потом – уже не отрывая взгляда. Он взял свечу и поднял её к лицу. Неровный огонёк дрогнул, и лицо в зеркале дрогнуло вместе с ним. Как он изменился... Лицо стало резче, как будто кто-то выточил его ножом, скулы выступили, глаза ввалились – вокруг них легли тёмные, синеватые тени, кожа побледнела до болезненной прозрачности, у висков – первые серебристые нити, которых не было до игры. Даже волосы лежали иначе – хаотично, как у человека, который много ночей спал под тюремной или больничной простыней. Он дотронулся пальцами до щеки – она будто принадлежала кому-то другому.

Ему показалось, что это не он – это тот, кто стоял за игорным столом, кто видел графиню и слышал ее голос.

На стуле у окна лежала раскрытая книга – тонкий, много раз читанный том с потрёпанным корешком. Страница 116 была согнута углом: он остановился именно там, в тот вечер, когда ушёл навстречу своей гибели. «Эликсиры дьявола. Роман Э.Т.А. Гофмана».

Он разобрал почту. Счета, деловые письма, приглашения, письмо матери. Оно пришло, когда он лежал в больнице. Желтоватый конверт, на котором чернила расплылись от сырости. Он взял его двумя пальцами – словно боялся обжечься и надорвал. Бумага мягко хрустнула. Почерк матери был узнаваемым – аккуратным, немного старомодным, с этими немецкими круглыми «о».

«Милый Герман, я давно не получала от тебя вести и начала тревожиться. Ты пишешь так редко, но я всё же надеюсь, что ты живёшь благополучно и не слишком одинок в этой далёкой

России. Отца уже нет, в последнее время он много работал в саду; осенью посадил новые яблони – говорит, что ты увидишь их, когда приедешь... хоть раз. У нас всё по-старому. Я болею и буду счастлива, если ты наведишь меня. Ехать далеко, но разве путь к сердцу измеряется милями? Может это будет наша последняя встреча. Я молюсь за тебя каждый вечер. Твоя любящая мать».

Герман дочитал и долго сидел неподвижно.

Дом... Слово вонзилось в сердце, как заноза. Зеленые луга. Виноградные холмы. Река. Скрип деревянного моста. Голос матери... Тёплое молоко.

И девичий смех соседки Терезы – солнечный, лёгкий, как музыка, которая, казалось, навсегда осталась в другом мире. Он попытался вспомнить её лицо. Смутный овал, золотистые волосы, большие глаза – добрые, слишком добрые для него теперешнего. Она обещала его ждать. Что он ей скажет? У него теперь есть Лиза.

Глава 5. Легенда о трёх картах

Надо решить, что делать с работой. Он лег на койку, задумался, и его петербургская жизнь начала медленно всплывать в ожившей памяти.

Петербург встретил Германа туманом и гулом Невы, величием и холодом. Мраморные набережные, строгие фасады, парады на Дворцовой площади – всё казалось продуманным до линии, до миллиметра. В этом городе не было места беспорядку, а красота выражалась в симметрии и дисциплине.

Он поселился в казённом общежитии Академии инженерных наук, где изучал математику, фортификацию, архитектуру, химию и механику. Немцы, голландцы, швейцарцы – иностранцы здесь не были редкостью. Россия в те годы охотно принимала специалистов из других земель: приглашала архитекторов, инженеров, врачей, учителей. Между странами существовали мирные, хотя и настороженные отношения – союзнические при Александре I, напряжённые при Николае I, но обмен знаниями и культурой продолжался.

Герман учился прилежно и замкнуто, быстро снискал уважение наставников за точность и холодную рассудочность. Сослуживцы звали его "немцем без улыбки", но именно эта сдержанность и дисциплина открыли ему дорогу в службу. Шутили: – Герман родился с линейкой в руке.

В 1831 году окончил академию с отличием и был определён в Инженерный корпус Санкт-Петербургского гарнизона, занимавшийся укреплением. Он поселился в казённой квартире на Литейной части, неподалёку от Инженерного замка. Окно выходило на канал, где по утрам медленно плыли барки с дровами, а по вечерам раздавался колокольный звон. Вставал на рассвете, пил крепкий кофе, перелистывал учебники по механике и отправлялся на службу в корпус инженеров.

Работа его не отличалась романтикой. Он рассчитывал толщину стен бастионов, чертил планы, проверял смету на мост через Невку. Всё исполнял, не пил, не кутил.

Все шесть лет он редко писал родителям – лишь короткие письма, сухие, без чувств, но аккуратные, как рапорты. Герман избегал разговоров, особенно о деньгах и женщинах – двух тем, что чаще всего оживляли петербургские офицерские вечера. Он сидел в стороне, наблюдая. Только глаза его – серые, внимательные – выдавали напряжённый ум и тайную страсть к порядку, успеху, власти над обстоятельствами.

Иногда он бродил один по набережным, глядя, как в мутной воде отражаются огни фонарей. Петербург казался ему шахматной доской: фигуры – это люди, каждый движется по правилам, но всегда есть рука, которая расставляет их заново.

Он мечтал подняться, заслужить чин, звание, уважение. В этом была его вера – не религиозная, а рациональная: труд, расчёт и благоразумие должны привести к успеху. Так учили его родители, так внушала немецкая строгость.

Через год Герман получил должность инженера, приличное жалованье, но жил по-прежнему скромно. Он ничего не тратил на удовольствия, даже свечи берег. Деньги копил – для чего, он и сам не знал. Может быть, потому что богатство казалось ему формой власти.

Иногда, возвращаясь вечером домой, он смотрел в окно чужого дома, где горел свет и смеялись дети. Что-то шевелилось в груди – не зависть, не грусть, а будто воспоминание о чём-то, чего он никогда не знал.

В те годы Петербург жил в двойном ритме: снаружи – парады, маскарады, рауты, а под поверхностью – тревога. Шла подготовка к турецкой кампании, строились новые крепости, и Герман всё чаще выезжал на инспекции. Он работал с фанатичной точностью, за что получил первую медаль и чин штабс-капитана.

Мысль пришла неожиданно, как слабый луч сквозь зимний мрак: Поехать домой. Уехать. Сбежать. Начать сначала. Или хотя бы умереть среди своих. Он ещё раз перечёл последние строки письма матери – и впервые за много дней почувствовал, как в груди теплеет. Не от вина. Не от безумия. А от того, что где-то его ждут.

Однажды на приёме, где Герман оказался случайно, заменяя заболевшего коллегу, он впервые увидел людей иного мира – богатых, беззаботных. В углу стоял карточный стол. Звон монет, шелест карт, приглушённые голоса. Он наблюдал, как один из игроков, проигравшись, бледнеет и смеётся; как дама в чёрном, облокотившись на спинку кресла, лениво бросает карту, не глядя – и выигрывает.

С того вечера Герман впервые понял, что и в человеческой жизни есть свои формулы, свои тайные вычисления, как в инженерном деле. Только нужно знать правила, скрытые от остальных.

Он начал интересоваться карточной игрой. Сначала теоретически – изучал вероятности, считал комбинации. Потом – на практике. Поначалу осторожно, за копейки, но уже тогда в его холодном рассудке рождалось опасное убеждение: выигрывает не тот, кто удачлив, а тот, кто умеет ждать и считать.

Так незаметно в его жизни появилось то, что со временем станет судьбой.

Как-то зашёл он к своему товарищу по службе поручику Томскому, который жил в просторной квартире на Миллионной улице. Комната была наполнена дымом сигар, смехом и карточным шелестом. Герман, как всегда, держался в стороне, наблюдая, как играют другие.

– Ну что, инженер, будешь играть мирандомом или попытаешь счастья? – поддразнил Томский, сдавая карты.

– Я не верю в счастье, – сухо ответил Герман. – Только в расчёт.

– Вот уж настоящий немец! – рассмеялся поручик. – А между тем, послушай-ка историю, – вот где расчёт и счастье сошлись вместе!

Так он впервые услышал историю о старой графине и трех картах и спросил, возможно, ли это математически?

– Ах, милый мой инженер, – подмигнул Томский, – если бы в жизни всё решалось по формулам, мы бы с тобой оба были генералами.

Возвращаясь домой по пустынной улице, Герман долго шёл пешком. Снег искрился при свете фонарей, из-за угла выезжала карета, и сквозь опущенные шторы мелькнул силуэт пожилой женщины в чёрной вуали. Он остановился, и странная мысль мелькнула у него в голове: а вдруг это она?

С того вечера он не мог избавиться от образа старой графини. Сначала – из холодного любопытства, потом – из тайного, почти болезненного интереса. Он начал расспрашивать, кто

она, где живёт, что с ней связано. Легенда о трёх картах стала для него не сказкой, а задачей, которую можно и нужно разгадать.

А потом была эта ужасная ночь.

Надо дождаться завтрашнего вечера, от этого будет зависеть его решение. Они обсудят ту роковую игру и решат, можно ли вернуть его выигрыш и наказать мошенника. Будут Томский, Сурин и Нарумов. Захотят ли, а главное, смогут ли они помочь? Хорошо, что Томский видел колоду, сам разложил карты и заметил, что бубновый туз отсутствует. Мой рассказ выглядел бы сомнительным. У него большие связи, открыты двери в дома, куда Сурина и Нарумову – нет. Это он рассказал о графине. Попрошу его возглавить операцию.

Сурин лучше всех помнит, что было. Он восстановит шаг за шагом всю игру, вспомнит, кто сидел от меня справа и слева, карту мог подменить только сосед. Наметит план действий. А Нарумов не подведет, мы давно знакомы, если нужно будет кого-то к стенке прижать, лучше него это никто не сделает. И, потом, он почувствует себя обязанным, ведь именно он ввел меня в клуб Чекалинского. До завтра...

И с этой мыслью он уснул.

Глава 6. Эксперимент

Гостиная у Томского была уже наполовину погружена в сумерки. Четверо сели за стол, где кроме бутылок с вином и четырех бокалов, на столе лежали несколько нераспечатанных колод карт. Свечи горели ровно, их жёлтые язычки дрожали от каждого движения воздуха, и тени людей на стенах то сближались, то расходились, будто сами вели между собой тайный разговор.

– Господа, – встал Томский, – сегодня я вас собрал по важному делу. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошую новость вы видите своими глазами: наш друг Герман поправился и вполне здоров.

– Поздравляю, – пожал Герману руку Сурин

– Я рад, – обнял его Нарумов, – а какая новость плохая?

– А плохая новость – в том, что Герман не ошибся, вынув из своей колоды туза, просто его карту подменили.

– Этого не может быть, – возразил Нарумов, – мы все сидели за столом и могли заметить.

– У тебя есть доказательства? – спросил Сурин.

– Есть. Когда я привез Германа из больницы домой, он отдал мне колоду карт, что была у него во время той игры. Он тогда машинально сунул ее в карман. Я разложил на столе бубновую масть, в ней не оказалось туза.

– А пиковая дама? – спросил Сурин.

– Была в колоде. Вот эта талья.

– Подменить карту могли только двое, сидевшие рядом, справа сидел некий англичанин, а слева камергер, – вспомнил Нарумов. Кто возьмется восстановить ход игры?

– Я помню это злосчастный «Фараон» по минутам. Теперь всё сходится... – медленно проговорил Сурин, глядя в одну точку, словно вновь видел перед собой тот роковой стол. В клуб Чекалинского Герман пришел на третий день. Положил на стол рубашкой вверх карту из своей колоды и загнул крупную ставку.

– Это были два моих выигрыша в первый и второй день, – объяснил Герман, – и я положил на стол бубнового туза.

– Не перебивай, а то я собьюсь. Банкомёт Чекалинский тасует карты и... к Герману подошла собачонка. Она все время вертится в клубе, очень ласковая. Да, подошла и стала тереться о ноги Германа. Герман, ты это помнишь?

– Теперь вспомнил! Я засмеялся, наклонился и ее погладил, а она облизала мне лицо, и я стал вытираться.

– Это важно. Может быть, это заняло минуту или две, но ты свою карту выпустил из виду. Кто помнит, что было дальше? Никто? А было вот что. Сосед Германа слева – камергер, достал кисет, взял хорошую понюшку табака и оглушительно чихнул. Вынул носовой платок, вытер лицо и уронил его на карту Германа.

– Теперь и я вспоминаю, – вступил в разговор Томский, – да он уронил платок на карту Германа, тут же его поднял и извинился.

– А дальше Чекалинский стал метать банк. Налево выигрыш банка, направо – выигрыш игрока. Туз лег направо, и Герман закричал «Туз выиграл!», он поднял со стола свою карту и показал всем, у него в руке была дама пик!

– Но как камергер мог подменить карту Германа и зачем?

– Это нам и предстоит узнать.

– Боюсь, что это – непосильная задача, – огорчился Нарумов.

В этот момент дверь, ведущая в соседнюю комнату, слегка скрипнула. Полина, до сих пор сидевшая в полутени у окна, подошла ближе. Лицо её светилось живым, насмешливым интересом.

– Господа, позвольте мне вмешаться, – сказала она. – Вы спорите так серьёзно, словно речь идёт о банковских бумагах, а не о куске картона.

– Если б это был просто картон, – сухо заметил Томский. – Мы бы сейчас не говорили о сломанных судьбах.

Полина улыбнулась и, чуть склонив голову, ответила:

– Тогда давайте проверим вашу догадку не словами, а делом.

– Каким ещё делом? – насторожился Сурин.

– Самым простым. Проведем эксперимент. Я уроню платок и попробую подменить карту. Если вы ничего не заметите, значит, и камергер мог это сделать.

В комнате повисла пауза. Томский невольно усмехнулся:

Она достала тонкий батистовый платок, белый, почти прозрачный, и разложила на ладони.

– Только одно условие, – сказала Полина, перестав улыбаться. – Всё должно быть так же, как в ту ночь. Положите на стол туз и дайте мне даму.

Сурин молча вынул из колоды туз и положил его посреди стола рубашкой вверх.

– Вот он. Туз Германа. Вот пиковая дама.

Полина кивнула. Никто не заметил, как она легко, почти машинально, сжала в пальцах свой батистовый платок. В его складках уже была спрятана другая карта – жёсткая, холодная, с острым углом. Пиковая дама.

– Смотрите внимательно, – предупредила она. – Потом не говорите, что я обманула.

Она подошла к столу не спеша, словно у неё и в мыслях не было никакого фокуса. Потом – чуть резче, будто споткнувшись о край ковра, наклонилась.

– Ах! – вскрикнула она нарочно.

Платок выпал из её руки точно на середину стола – прямо поверх туза. На мгновение белая ткань укрыла карту целиком. Это длилось меньше секунды.

И в эту секунду произошло всё. Пальцы Полины, скрытые тканью, мягко освободили пиковую даму и оставили её на столе. Тот же самый жест, тем же движением – и туз Германа уже оказался в складках платка, зажатый между её пальцами. Она тут же подняла платок – как поднимают упавшую салфетку, не придавая этому ни малейшего значения.

– Простите... какая я неловкая сегодня, – сказала она, слегка встряхивая платок, будто проверяя, не испачкался ли он.

Сурин наклонился первым и медленно перевернул карту, оставшуюся на столе. Пиковая дама. Он побледнел.

– Это... это невозможно, – прошептал он.

Потом посмотрел на платок в руках жены.

– А теперь – что у вас?

Полина, всё ещё улыбаясь, развернула платок.

На белой ткани лежал туз.

Несколько секунд никто не говорил ни слова.

– Значит... – выдохнул Сурин. – Всё именно так и могло быть. Платок сверху. Карта ушла под платок. Другая осталась вместо неё.

– И никто ничего не заметил, – спокойно добавила Полина. – Вы смотрели только на ткань. А не на то, что под ней.

Томский тяжело опустился на стул.

– Тогда ночью... – начал он и замолчал.

Полина уже не улыбалась.

– Тогда ночью Герман видел, как у него подняли платок, – тихо сказала она. – А не как у него украли туз.

– За такую помощницу, как ты – Полина, любой банкир отдал бы всё своё состояние, – усмехнулся Сурин

Она посмотрела на него внимательно и чуть устало:

– Возможно. Но Герман отдал больше – свою судьбу.

В комнате снова стало тихо. Шутка Полины ещё висела в воздухе, но под ней уже проступало другое, куда более мрачное понимание: в ту роковую минуту судьба Германа могла решиться не мистикой, а двумя быстрыми, ловкими движениями чужих пальцев.

Глава 7. Преступник оставляет след

– В Петербурге есть люди, которые ищут правду в бумагах, но есть те, кто ищет её в лицах, – сказал Томский. – Я знаком с одним из них – частным сыщиком Алексеем Ивановичем Верещагиным. Он распутал не одно дело придуманным им способом, когда из-за семейных секретов не хотели приглашать полицию. Сейчас я за ним пошлю, может, мы пока сгоняем пару партий? А ты, Герман, присоединишься?

– Без меня, я дал честное слово доктору: больше карты в руки не возьму.

Привезли сыщика.

– Господин Верещагин, у нас к вам просьба: распутать небольшое дело, – попросил Томский, – сейчас Сурин введет в курс дела.

Верещагин выслушал рассказ внимательно, не перебивая ни разу. Он не задавал вопросов – только изредка поднимал брови, когда речь заходила о камергере, о собаке, о платке Полины, о мгновении, когда Герман отвлёкся.

Когда Сурин кончил, он некоторое время смотрел в пустоту, словно перебирая в уме не слова, а невидимые улики.

– Карты, я имею в виду то самую пиковую даму, у вас сейчас нет? – наконец произнёс он.

– Жаль.

– Вы полагаете, можно будет доказать подмену? – спросил Нарумов.

Сыщик медленно кивнул.

– Если пиковая дама сохранилась в том самом виде, в каком её держали в руках... то да. Я попытаюсь доказать.

– Чем? Камергер всё отвергнет.

Сыщик усмехнулся одними губами.

– Каждый человек, беря в руки предмет, оставляет на нём невидимый знак. След от кожи, пота, жира, табака, пудры. Мы их не видим – но след остаётся. Я много лет наблюдаю за этим. На бокалах. На стекле. На лакированных шкатулках. Даже на картах.

Томский недоверчиво улыбнулся:

– Вы хотите сказать, что палец можно узнать так же, как почерк?

– Я хочу сказать, что каждый палец оставляет свой собственный рисунок. Петли, дуги, завитки. Они не повторяются. Это ещё не признано наукой. Над этим смеются. Но я знаю: это возможно. У этого – будущее.

В комнате повисла тишина.

– И вы сможете разоблачить камергера? – спросил Герман.

Сыщик посмотрел на него прямо:

– Если вы принесёте мне ту самую пиковую даму, которую вынули из колоды... да. Я попробую. Если на ней остались следы того, кто её подменил, я их увижу.

– А если он вытер карту? – тихо сказал Сурин.

– Человек думает, что уничтожает след. Но уничтожает лишь то, что доступно глазу. Найдите карту. Не трогайте её голыми руками. Не кладите в колоду. Не храните среди бумаг. Лучше завернуть в чистую ткань. А дальше... дальше дело техники и терпения.

Герман медленно выпрямился.

– Значит, правда всё ещё может быть доказана?

Сыщик кивнул:

– Если подмена была, я ее докажу. Но я не работаю бесплатно. Принесите мне карту, и я сделаю все что смогу.

Вечер у Томских был устроен просто и уютно. В столовой пахло свечами, чаем и чем-то сладким из кухни. Гости говорили вполголоса, смеялись, звякали столовыми приборами, и всё это сливалось в ровный шум. Полина хлопотала с такой мягкой заботливостью, словно хотела, чтобы каждому за столом стало по-домашнему спокойно.

Герман, войдя последним, сразу увидел Лизу. Она сидела у окна, в светлом платье, чуть склонив голову к Полине и, почувствовав на себе его взгляд, подняла глаза.

Когда их взгляды встретились, Лиза слегка покраснела и тут же отвела глаза,

– Прошу, – сказала Полина, – садитесь, господа, занимайте свободные места.

Герман увидел свободное место рядом с Лизой. Он остановился, будто сомневаясь, но отступить было поздно: кто-то уже подвинул для него стул.

– Если позволите... – тихо произнёс он.

– Да... пожалуйста, – так же тихо ответила Лиза.

Оба сидели прямо, чуть напряжённо, словно между ними пролежала невидимая граница, которую нельзя было переступить неловким движением. Некоторое время они даже не смотрели друг на друга, делая вид, что заняты тарелками, приборами, разговором соседей.

Первым нарушил молчание Герман:

– Вы... давно у Томских?

– Нет, – ответила она после короткой паузы. – Меня пригласила Полина. Я... редко бываю в гостях.

Он кивнул, словно это объясняло гораздо больше, чем было сказано вслух.

Иногда их пальцы почти касались, когда оба тянулись за хлебом или бокалом. Оба всякий раз вздрагивали от этого прикосновения. В разговоре за противоположным концом стола кто-то громко рассуждал о карточной удаче, кто-то смеялся; Герман слышал эти слова глухо, как сквозь

воду. Он ощущал только её присутствие рядом – её дыхание, слабый запах духов, тихий шорох платья, когда она меняла позу.

Часто Лиза поднимала на него глаза – осторожно, будто проверяя, не смотрит ли он. И всякий раз он уже смотрел. В этих коротких взглядах было больше, чем в долгих разговорах. Полина, будто, между прочим, несколько раз обращалась то к одному, то к другому, втягивая их в общий разговор.

Первые минуты они оба чувствовали неловкость. Герман говорил мало, больше слушал. Лиза отвечала коротко. Иногда их руки почти соприкасались, и тогда оба замирали на долю секунды, словно боялись спугнуть это тонкое, ещё не названное чувство.

– Вам здесь хорошо? – тихо спросил он.

– Да, – отозвалась она. – Здесь спокойно... И вы сегодня кажетесь совсем другим.

Он посмотрел на неё внимательнее.

– Это рядом с вами.

Лиза опустила глаза. Сердце её билось так громко, что ей казалось – он должен это слышать.

Когда подали чай, атмосфера за столом стала мягче, разговоры – тише.

За столом шутили, вспоминали чужие истории, спорили о пустяках. Но для них двоих весь этот шум будто отступал далеко назад. Они существовали в своём тихом круге, где каждое слово значило больше, чем казалось.

Полина иногда поглядывала на них с мягким удовлетворением. Томский смеялся, рассказывал что-то друзьям, но и он время от времени бросал быстрый, понимающий взгляд.

Когда ужин подошёл к концу и гости стали подниматься из-за стола, Герман почувствовал, как внутри у него что-то сжалось – не хотелось, чтобы этот вечер так просто кончился.

Глава 8. Провожание

Они шли медленно, под луной, и шаги их почти не были слышны.

Лиза шла рядом с ним легко, почти бесшумно ступая по свежему снегу. На ней было тёплое тёмное пальто с узким меховым воротником – скромное, без излишней роскоши, но сидевшее так аккуратно, будто его шили именно для неё. Мех у лица смягчал её черты, делая их особенно тихими, почти детскими в лунном свете.

На голове – небольшая шляпка, поверх которой был накинут тонкий шерстяной платок, завязанный под подбородком. Из-под него выбивалась прядь светлых волос, тронутая инеем. Ресницы её чуть поблёскивали от снежной пыли, и когда она поднимала глаза, казалось, будто в них отражается сам зимний свет.

В руках она держала муфту, к которой время от времени прижимала пальцы, согреваясь. Сапожки у неё были простые, аккуратные, с узким носком, и каждый её шаг оставлял на белом снегу чёткий, лёгкий след.

Она вся казалась частью этого зимнего вечера – неяркой, спокойной, чистой, как сам падающий снег. Ни одной детали вызывающей, ни тени нарочитости – всё в ней говорило о сдержанности, тепле и каком-то внутреннем порядке, который чувствовался даже в её походке.

После недолгого молчания Герман попросил:

– Лиза, я так мало о вас знаю, расскажите о себе.

– Мою жизнь можно уложить в одну страницу. Я родилась в Петербурге. Мой отец, Александр Платонович Туров, из небогатого дворянского рода. Учился в военном училище вместе с будущими участниками Северного общества, потом поступил в армию и участвовал в войне с французами. После взятия Парижа поехал туда в составе полка. Парижские женщины находили его «русскую романтичность» привлекательной. Он быстро стал там завсегдатаем

балов, имел романы, увлекся карточной игрой и после большого проигрыша графу Сен-Жермен, вернулся домой, где и попал в среду декабристов. Я думаю, в восстании его роль была второстепенной и, после провала мятежа, он чудом избежал ссылки: мне удалось убедить власти, что он помешался рассудком и внести солидную сумму в больницу, чтобы его приняли на время, пока все утихнет.

Моя мать – Ирина Петровна была мягкая, интеллигентная женщина, обучала меня грамоте, арифметике, иностранным языкам, музыке и рисованию. Она умерла, когда мне было 14 лет. Я много читала, особенно сентиментальные романы, и верила, что любовь – это дар небес. Отец обучил меня светским навыкам и поведению.

Но, после того, как я истратила все деньги на спасение отца, я вынуждена была наняться компаньонкой к графине Анне Федоровне. Это было непросто. Графиня привыкла к строгой дисциплине и порядку, к дистанции в отношениях с людьми. Такое обращение не обязательно отражает неприязнь – это часто бытовой стиль старых богатых дам, которые воспитывались в традиции, где слуги и компаньонки подчиняются без вопросов. Но у этой работы есть большие плюсы: я сопровождала ее на балы, в театры, на светские вечера, куда сама бы никогда не попала. И еще имела карманные деньги, еду и крышу над головой. Конечно, с раннего утра до позднего вечера выполняла поручения графини – читала ей вслух, помогала одеться, и сидела рядом в экипаже. Гуляла, писали под ее диктовку письма.

Внешне она была холодная, строгая, временами грубая, но нередко останавливала на мне свой взгляд, словно пыталась читать мои мысли.

В тот ужасный вечер я ждала вас для объяснения, но вы коварно использовали меня, чтобы проникнуть в наш дом...

Луна на миг вышла из-за облака, осветив их лица. Герман ясно увидел, насколько она серьезна, собрана, как тихо, без слов стоит за тем, что считает правильным. И в эту минуту ему особенно отчетливо захотелось быть рядом – не только для разговоров, но и для защиты.

– Лиза, ради Бога, простите меня, что я должен сделать, чтобы вы меня простили?

– Вы и так уже расплатились за все. Я тогда слышала ваш разговор, дверь была полуоткрыта. Но она вам не назвала три карты. Откуда вы узнали про тройку, семерку и туз?

– Она мне приснилась на следующую ночь. Назвала три карты и сказала. Что меня прощает, если на вас женюсь.

– Теперь мне стало понятно ваше внимание за столом, я опять стала средством для вашей цели. Но на этот раз вы попали пальцем в небо, вам меня не обмануть.

– Лиза, клянусь вам...

– Кончим на этом. Но если хотите, расскажите мне о себе. Мне интересно знать, кто провожает меня домой, есть ли душа под этой переменчивой оболочкой, и дойду ли я благополучно домой? Вы взяли с собой пистолет?

– Лиза!

– Я шучу. Вы ведь немец?

– А вам не нравится?

– Почему же. Я много слышала о немцах, они аккуратны до щепетильности, умеют ценить порядок, держат слово и работают так, словно совесть у них заведена как часы: без перебоев.

– Так это точно мой портрет. Шучу.

– А, если серьезно, Герман, какие планы у вас?

– Пока я был в больнице, пришло письмо от матери. Она пишет, что отца уже нет, и просит ее навестить, может быть в последний раз. Я планирую съездить в Германию, мой родительский дом в Тильзите, это небольшой город по соседству с Кенигсбергом.

Старинные черепичные крыши, башня ратуши с часами и каменный мост с фигурой святого Георгия придают ему тот вид, который, казалось, не менялся со времён Реформации. По утрам звонят колокола, на площади торгуют рыбой, мёдом и сыром, а по вечерам в трактире «Золотой лев» обсуждают дела Европы и соседней Франции, чьи войны не раз проходили мимо, оставляя следы в памяти стариков.

У нас небольшой дом на окраине, с садом и голубятней. Мой отец Фридрих Карлович Крамер был комиссионером русско-прусской торговли в Тильзите. Он принимал товары из России – лен, пеньку, лес, меха – и отправлял их в Пруссию и далее по Европе, ведя все расчёты через векселя и расписки. День за днём он проверял поступления, оформлял документы, переводил деньги через границу, получая комиссию с оборота. Жил строго и скромно, не выставлял богатства, хранил накопления в бумагах и банковских билетах. За долгие годы аккуратной службы он составил небольшое, но надежное состояние, которое оставил мне; и вместе с капиталом передал мне привычку верить лишь в расчёт, порядок и точность, как в самой жизни, так и в делах. Мать растила меня, словно Божий дар. С младенчества я отличался молчаливостью и наблюдательностью, рано научился читать и любил сидеть у окна, разглядывая, как студенты университета идут по мосту с книгами под мышкой.

Всё мне было чуждо городскому шуму и играм – я не гонял мяч, не дрался, не бегал на луг; зато мог часами разбирать отцовские инструменты, измерять длину досок, чертить на песке мосты и дома. Отец, видя это, гордился мной, но и тревожился: я рос серьёзным, будто слишком взрослым для своих лет.

Когда мне исполнилось девятнадцать, в Германии начались тревожные годы. Многие семьи, особенно немецкие ремесленники и инженеры, искали возможности в России, где после 1812 года царствовал Александр I и требовались специалисты для восстановления городов, строительства дорог и укреплений.

Отец имел связи среди немецких купцов, ведших дела в Петербурге. Через них он узнал, что Императорская инженерная академия принимает иностранных юношей с рекомендацией, и решился: продал часть имущества и отправил меня учиться в Россию. Я не был дома шесть лет. Возьму отпуск на работе...

– Очень интересно, Герман, а я уже дома.

– Лиза, вы будете меня ждать?

– Если вы привезете мне необычный сувенир.

– Какой же подойдёт вашей взыскательности?

– Такой, которого нет ни в одной лавке, – ответила она, смеясь. – И я подожду. Но только не слишком долго...

Глава 9. Родительский дом

Путешествие Германа из Петербурга в Германию пришлось по его сердцу тяжёлой поступью. Он ехал поспешно, почти не выходя из дорожных экипажей, не задерживаясь ни в одном трактире дольше необходимого.

А Германия жила своей тихой жизнью – размеренной, как ход башенных часов в каждом городе. Это был мир, где новейшие веяния соседствовали с вековыми привычками: гильдии ремесленников, ярмарки вина, каждое воскресенье – кирха, вечером – пивная или музыкант на площади.

Промышленная революция едва коснулась этих мест. Железнодорожного сообщения ещё не было; по дорогам шагали странствующие подмастерья, носившие на посохах узлы с нехитрым скарбом; в лавках торговали местным сыром, колбасами, а на рынке можно было купить диковинную штуковину – карманные часы из Англии.

Такой Герман и помнил свою родину – неторопливой, скромной, без блеска, но наполненной мирным достоинством. Письмо матери, дрожащей рукой исписанный лист, было единственным, что удерживало его мысли в порядке, он надеялся найти её живой.

Лошади замедлили шаг, и карета остановилась у почтовой станции.

– Тильзит, – объявил возчик, заглянув в кабину.

Герман вышел из кареты и пошел к дому пешком. Раннее утро конца зимы: холодный воздух, первые проталины на улицах. Люди спешат по делам, но город ещё не ожил полностью. Все так знакомо. Узкие мощёные улочки, аккуратные каменные и деревянные дома с высокими крышами. Центральная площадь с рынком, где торговцы выставляют овощи, зерно, ткани и пряности. Атмосфера тихая и провинциальная, но жизнь не замирает: по утрам слышно, как куют в кузницах, петухи кукарекают, дети бегают по дворам.

Прошел по мосту через небольшую речку. Знакомая кирха – старинная лютеранская, с колокольной, видимой почти с любой точки города. Витражи с библейскими сюжетами. Рынок – деревянные лавки, пахнет свежим хлебом и дымком от жаровен. Ремесленные мастерские – плотники, кузнецы, сапожники.

В конце улицы – его родительский дом. Небольшой, каменный, с мансардой и садиком во дворе. Перед домом – огороженный сад с яблонями и небольшим огородом.

Дверь заперта.

Вышел сосед, сообщил о смерти матери, дал ему ключи и Герман, словно онемев, вошёл.

Дом, некогда полный запаха хлеба, вина и старых книг, теперь казался покинутой раковинкой. Герман медленно проходил из комнаты в комнату – как странно, что вещи стоят на своих местах, а жизнь уже ушла.

Сосед повел его на кладбище. Сырой воздух нес запах земли и первых травинки. Герман шел за ним по узкой, усыпанной прошлогодней хвоей дорожке, что тянулась между крестообразных теней. Кладбище оказалось совсем не таким, каким он его помнил в детстве: тогда оно казалось бескрайним, мрачным, почти сказочным лесом каменных стражей. Теперь – аккуратные ряды надгробий, ухоженные кусты самшита, и тишина, такая плотная, что был слышен каждый его шаг.

Между могильными плитами растут кривые яблони. Холодный ветер тянет запах сырой земли и старых листьев. Сосед идет медленно, давая Германа время собраться с мыслями.

– Вот, – произнёс он тихо, остановившись.

На двух свежих камнях – имена родителей. Герман долго стоял, не решаясь произнести ни молитвы, ни слова. Как будто язык не находил пути к этому молчанию.

Две простые могилы рядом: одинаковые серые плиты, лишь с разными именами. Никаких громких эпитафий, только даты, слишком недавние, ранят глаза. У Германа в груди что-то сжалось. Он будто сразу стал и старше, и моложе: старше – потому что смерть, наконец, завершила его детство; моложе – потому что в этот миг он снова стоял перед родителями, как мальчик, которому нужно сказать что-то важное и своевременное, но слова не слушаются.

Он стал на колени, провёл рукой по шершавым камням. Камни были холодны – но не так холодны, как ощущение в груди.

Мама, отец... я опоздал. Он не произносил это вслух, но внезапно понял, что если бы даже сказал – ветер всё равно унёс бы слова.

Он вспомнил, как мать выносила ему горячие роголики, как отец учил его ровно держать перо, как они провожали его на станцию, когда он уезжал в Петербург. Отец тогда сдерживал эмоции, мать – нет. Мог ли они предположить, что больше его не увидят?

Герман коснулся второй плиты. Здесь земля была чуть свежее, будто недавно поправленная. Сосед рассказал, что отец ушёл первым, а мать – будто дождалась конца зимы и

последовала за ним, как всю жизнь следовала за каждым его шагом. Герман слушал, едва понимая слова, словно звук проходил мимо, а смысл – внутрь, прямо в сердце.

Он поднялся неторопливо, почти тяжело. Взгляд задержался на деревьях, которые скоро распустятся. Как странно, подумал он, всё вокруг живёт дальше. Ничто не ждёт нас, никто не задерживает время.

И всё же, стоя перед двумя плитами, он почувствовал – здесь его приняли. Он пришёл слишком поздно, мир родителей, их дом, их заботы, их жизнь – всё это осталось здесь, в этом ветре, в этом запахе мокрой земли, в памяти людей, которые его знали.

– Спасибо, – сказал он соседу. – Я буду сюда приходить. Теперь – когда смогу.

И с этим чувством он пошёл обратно, как будто нес на плечах не только свою дорожную сумку, но и целую жизнь, которую ему ещё предстоит осмыслить.

От кладбища Герман шёл медленно, будто каждое здание требовало, чтобы он его узнал заново. Но ничто не сдавило сердце так, как вид старого дома, в котором он вырос. Он помнил его, конечно, помнил, – но годы придали ему какой-то смиренный, почти монашеский вид: ставни чуть перекошены, крыша подлатана чужими руками, и сад, когда-то аккуратный, теперь заросший жестокой, безмолвной травой, которая знает время лучше людей.

Дверь отворилась легко, будто ждала его. Внутри пахло старым деревом, пылью и чем-то ещё – ароматом материной кухни, едва уловимым, но таким родным, что у Германа перехватило дыхание.

В гостиной ничего не изменилось: тот же стол у окна, покрытый вышитой скатертью, пожелтевшей от времени; фотокарточки в потемневших рамках; часы, стоящие на каминной полке. Их стрелки показывали полвосьмого – Герман сразу вспомнил, что отец часто забывал заводить их по вечерам. Он провёл рукой по стулу, на котором обычно сидела мать, перебирая в руках вязание. На спинке всё ещё висел старый шерстяной платок – будто она вот-вот вернётся.

Сосед тихо сказал:

– Мы убрали здесь... как могли – ничего не трогали без надобности.

Герман кивнул. В доме чувствовалось присутствие ушедших – тихое, едва слышное, но постоянное, как дыхание стен. Он поднялся наверх. Ступеньки под ногами скрипнули точно так же, как двадцать лет назад. Дверь в его комнату была приоткрыта. Герман толкнул её – и будто шагнул в собственное прошлое.

Комната была маленькая, светлая. На столе – старый чернильный прибор, гладкий, отполированный его же пальцами. В углу – книжная полка: ученические тетради, книги, подаренные отцом. На стене висела карта Европы – та самая, перед которой он стоял, придумывая себе будущие путешествия. На кровати лежало покрывало – мать всегда стелила его на зиму. Герман сел на край. Вспомнил, как возвращался сюда вечером после прогулки с красивой соседкой Терезой, в которую был влюблен, мечтал, злился на строгого отца, как собирал чемодан, уезжая в Петербург. И мать, поправившая ему воротник, тихо сказала:

– Главное, не забывай нас.

А он забыл и дом и родителей. Он забыл время.

Вскоре пришел местный адвокат – серьезный, сухощавый мужчина, которого покойный отец, судя по всему, хорошо знал. Он держал в руках плотную папку.

– Господин Герхард, – начал он, – ваши родители оставили всё вам.

Завещание было написано рукой отца, аккуратным, ясным почерком:

«Герману Герхарду передаём дом, весь земельный участок, а также всё недвижимое имущество, находящееся в нём. Он может распоряжаться домом по собственному разумению. Средства на счёте в банке – тоже ему. Библиотека и инструменты остаются в его пользовании. Если возможно – пусть иногда приходит к нашему месту на кладбище. Карл Герхард».

Адвокат передал ему несколько свёртков и конвертов. Нотариально заверенные документы на дом и землю. Банковская книжка отца. Письмо от матери, запечатанное. Адвокат сказал, что мать просила передать письмо лично, когда он приедет. Письмо лежало на самом дне папки, словно боялось начать разговор, который мать не успела завершить при жизни.

Когда Герман остался один, папка с документами на коленях, дом вокруг казался тихим, как забытая часовня. Он смотрел на бумаги – сухие, официальные, строгие – и понимал, что за каждой стоит целая судьба: последние месяцы родителей, их мысли, их ожидания, их надежда, что сын ещё появится на пороге.

Он медленно провёл рукой по столу в своей комнате – и решил, что останется здесь на несколько дней. Что делать с домом? Может его купит богатый сосед, у него несколько собственных домов. Надо разобрать бумаги, прочитать письмо матери, пройтись по улицам детства... и, возможно, впервые за много лет позволить задать себе вопрос: где его настоящий дом?

Глава 10. По воле отца

Утро он начал с Королевской улицы – узкой, булыжной, где домики иногда стояли так близко друг к другу, что верхушки крыш почти касались. Торговцы уже расставляли корзины с яблоками, а женщины сидели на крылечках у дверей своих домов и чистили картофель.

Герман шёл медленно, узнавая каждую деталь. Здесь, у старой липы, он когда-то играл в «косточки» с соседскими мальчишками. Здесь, возле булочной, впервые подрался с Гансом из-за Терезы. Там, у колодца, он слушал страшные сказки подмастерья-печника. Все эти мелочи вдруг обрели почти болезненную остроту – жизнь, которую он больше не может вернуть.

По это улочке он когда-то бегал в школу. Теперь она казалась меньше, чем в детстве. На подоконниках стояли глиняные горшки с геранью, а воздух пах свежим хлебом, пряниками с корицей, сырой древесиной, дымом от печных труб. Слышно было, как грохочут деревянные колёса телеги по булыжнику, как хлопают двери лавок. Казалось, город всё ещё живёт по старым законам, не замечая революций и перемен, прокатившихся по Европе.

Он прошёл дальше, туда, где тянулись небольшие ремесленные домики. Там всё осталось почти таким же, как в его детстве: из открытой двери сапожника тянулся запах кожи; у токаря в окне вращался точильный круг; над дверью цирюльни висела огромная деревянная бритва – Герман смеялся над ней мальчишкой. Хозяева старых мастерских сменились, но ремесло – нет. Звуки здесь были те же: стук молотков, скрип ремённого привода, шипение горячего железа в воде. Герман слушал – и чувствовал, как будто он снова пятнадцатилетний, за углом его ждёт приятель, впереди – бесконечные каникулы, а мир ограничивается этими улицами.

Заглянул в парк – тот самый, где он когда-то строил шалаш и прятал найденные «сокровища»: блестящие камешки, пуговицы, обломки стекла. Парк был небольшим, с аккуратными аллеями, посыпанными светлым песком. По воскресеньям здесь гуляла вся округа: ремесленники в парадных жилетах, их жёны с зонтиками, дети, сдиравшие колени на качелях.

Когда Герман прошёл мимо пруда, вода дрогнула под лёгким порывом ветра, и он вспомнил, как ловил здесь майских жуков. В те времена ему казалось, что этот пруд – бесконечный, а деревья – великанские. Теперь всё было обычным. Но именно это ощущение обычности и щемило сердце.

Проходя мимо кирхи, он остановился. Строгая, с высоким шпилем, который в детстве казался Герману самой высокой точкой на земле. Рядом река тихо несла свои воды, отражая свет серого неба. Он зашёл в зал – маленький, со сводчатым потолком, окнами, пропускавшими мягкий янтарный свет. Здесь пахло воском и старыми молитвенниками. У входа стояла та самая чаша со святой водой, на хорах – старое пианино, на котором играл органист Йозеф.

Герман помнил, как мать приводила его сюда за руку. Как он терялся среди взрослого хора. Как слушал пастора, не понимая слов, но ощущая важность самого момента. Он опустился на скамью, и сердце его чуть смягчилось. Здесь он впервые слушал рождественский хорал. Запах внутри был прежним – смесь воска, старых книг и прохлады каменного свода. Время словно остановилось.

Неожиданно он увидел старого приятеля Ганса, с которым некогда вместе ухаживали за Терезой. Ганс узнал Германа, и на его лице сразу расцвела улыбка.

– Ну что, старик, – сказал он, хлопнув Германа по плечу, – вот ты и вернулся домой. Как живется, что слышно в Петербурге?

Они проговорили немного о прошлом, о школе, о детских шалостях.

– Зайдем ко мне, – предложил Ганс, – Покажу семью.

Дом приятеля встретил Германа теплом и уютом. В просторном доме играли двое детей, а жена готовила что-то на кухне, время, от времени выглядывая с улыбкой. Тут царила традиционная гармония женщины: дети, кухня, церковь – все, чему следовало подчиняться в жизни, если выбирать спокойствие.

А Ганс усадил Германа за стол и, словно читая его мысли, сказал с легкой улыбкой:

– Между прочим, Тереза... она все еще не замужем. Неужели она и впрямь ждет тебя?

Герман почувствовал странное дрожание в груди – смесь надежды и сожаления. В этом тихом доме, среди детей и привычной домашней жизни, вдруг проступила живая тропинка прошлого, которая могла привести его к Терезе.

А вот и библиотека.

Здание городской библиотеки стоит в переулке, рядом с аптекой. Дверь, как и раньше, выкрашена тёмно-зелёной краской, местами облупившейся. Герман помнил, как мальчишкой робко толкал её, боясь, что громкий скрип нарушит тишину. И теперь, когда он снова вошёл внутрь, дверь протяжно вздохнула тем же знакомым звуком – будто приветствуя его. За высоким столом, как и прежде, сидел библиотекарь герр Брендер: сухой, седой, с неизменной чёрной жилеткой и серебряными очками на цепочке. Лицо его почти не изменилось – разве что на висках прибавилось седины, а взгляд стал мягче.

Увидев Германа, он приподнял голову и замер на миг, будто не веря своим глазам.

– Герман – голос его дрогнул от удивления. – Я думал, ты уже давно забыл наш маленький город. Совсем взрослый! У меня есть кое-что для тебя. Вот, посмотри, – библиотекарь вернулся, держа в руках три книги. – Совсем недавно пришли из Лейпцига.

Первым он протянул сборник стихов Генриха Гейне в свежем, ещё пахнущем типографской краской издании.

– Молодёжь у нас от него без ума, заметил он, поправляя очки. – Но, признаться, некоторые считают его слишком дерзким.

Вторым был толстый фолиант – новое издание книги братьев Гримм.

Третий том оказался сборником лекций Гегеля.

Библиотекарь улыбнулся:

– Для тех, кто возвращается из дальних стран, книга о духе времени бывает полезней дорожных заметок.

Герман взял тома и почувствовал, как тепло переплётов проходит в ладони, будто через них к нему возвращается что-то давно потерянное: простые радости детства, тишина зимних вечеров, вера в то, что в книгах действительно скрыт целый мир.

Библиотекарь слегка наклонился вперёд, поглядев поверх очков:

– А как твоя жизнь в Петербурге? Я слышал, что ты уехали учиться туда по воле отца?

– Да, отец хотел дать мне хорошее образование. А ведь я мог бы учиться в университете по соседству в Кенигсберге. Почему он отправил меня в Петербург?

– Петербург, – повторил Брендер, будто пробуя слово на вкус. – И всё же... ты вернулся. Твой отец всегда был человеком строгим, но когда он говорил о тебе, в его глазах появлялось что-то... особенное. А мать, когда получала от тебя письма, приходила в библиотеку и читала их вслух, мне и ещё нескольким соседкам, которым доверяла. Я часто думал, как ей не хватает твоего голоса.

– Спасибо, – сказал Герман. – Я не знал, что она читала письма вслух.

– Возьми эти книги, Герман. Они тебе сейчас пригодятся больше, чем кому-либо. Иногда именно чтение помогает понять, зачем ты вернулся.

Герман взял тома. Обложки были тёплыми от лампы, и в этом тепле было нечто родное, чем-то похожее на прикосновение руки матери.

Если бы отец не отправил его в Петербург, всё сложилось бы иначе.

Он остаётся учеником у какого-нибудь мастера – сапожника или часовщика. Каждое утро открывает лавку под звон колокола кирхи, по вечерам сидит на крыльце, слушая журчание ручья. По воскресеньям ходит в ту же кирху, празднует одни и те же праздники, встречает одних и тех же людей, стареет рядом с теми, кого знал с младенчества. Женится на Терезе. Ведёт простую, мирную жизнь. Растит детей – и тишина немецких вечеров ложится на его душу мягкой пеленой.

Жизнь была бы простой – но настоящей. Без карт, без наваждений, без графини. Без того страха, который грыз его в Петербурге. И мысль эта так ясно вспыхнула, что он едва не застонал. Петербург изменил его, обжёг, словно северный огонь. Ветер Невы дул ему в глаза даже сейчас, на спокойных немецких улицах.

Почему отец отправил его в Петербург?

Глава 11. Масленица

Масленицу в Германии праздновали в последнюю неделю перед Великим постом. В городках Пруссии этот праздник сочетал в себе церковные традиции и деревенские обычаи.

Улицы с самого утра оживали: вокруг ратуши ставили деревянные лавки; торговцы выкладывали жареные колбаски, горячие пряники, сладкие бублики; девушки продавали ленты и веночки; дети в масках носились между толпой с трещотками.

В некоторых дворах разжигали большие костры, бросая в них соломенные куклы – символ зимы. Мужчины с кружками тёмного пива стояли кучками, спорили о политике и обсуждали надежды на будущий урожай; женщины смеялись, переговаривались, расспрашивали, кто, что готовил к праздничному столу. В воздухе стояли запахи топлёного масла, пресного теста, дыма и пряностей.

Старые приятели Германа хлопали его по плечу, удивлялись, что он изменился – стал сдержаннее, прямее в спине, строже в глазах. Кто-то предлагал выпить кружку пива, кто-то напоминал историю из юности. Но Герман слушал как будто сквозь туман – мысль о встрече с Терезой волновала его сильнее всех приветствий: сосед, отец Терезы, пригласил его на ужин.

Когда Герман вошёл, его встретил мягкий запах хмеля, печеных яблок, сдобного теста – всё это перемешивалось с теплом камина.

Стол был накрыт богато, но без излишнего блеска: старинная скатерть, белая с вышивкой; массивные оловянные блюда; на тарелках – золотистые блины, пышные пончики с начинкой, жареная утка, тушёная капуста, картофель с укропом. В больших кувшинах – яблочное вино и густое пиво.

Отец Терезы, плотный, уверенный, с густыми усами, встретил Германа, как родного.

– А вот и наш гость из Петербурга! – сказал он громко. – Садись ближе к свету, чтоб я видел: не забыл ли ты наших обычаев.

И в этот момент Герман увидел её.

Тереза вышла из соседней комнаты, не торопясь, с лёгкой улыбкой – в простом светлом платье, с убранными назад волосами. Она почти не изменилась: те же мягкие глаза, тот же ровный румянец, тот же тихий взгляд, от которого сердце у Германа вдруг стиснулось. Её руки были заняты блюдом с пирогом, но, увидев его, она остановилась на секунду – и лишь потом подошла к столу.

Разговор за ужином шёл живой: отец Терезы расспрашивал Германа о Петербурге, удивлялся его должности; мать Терезы, добрая, полная женщина, спрашивала, не было ли холодно ему в дороге. Герман отвечал, но сам ловил на себе взгляд Терезы – короткий, робкий, как раньше.

Терезу посадили рядом с Германом с такой естественностью, что никто не заметил, кроме них двоих. Она села тихо, сложив руки на коленях, и только когда разговор за столом немного улёгся, повернулась к нему.

– Герман, скажи, а женщины в Петербурге действительно все одеваются так роскошно, как на картинах?

Она произнесла это с лёгким недоверием, но глаза её блестели любопытством.

Герман невольно улыбнулся.

– Не все. Те, кто бывает на балах у губернатора или в домах крупных сановников. Шёлк, кружева, перья... иногда даже столько украшений, что, кажется, они звенят при каждом шаге. – А блюда... говорят, русские любят гречневую кашу? И щи?

Герман рассмеялся.

– Гречневая каша – это верно, её едят и простые, и богатые. И щи – да, особенно зимой. Но на моём столе чаще бывали жареные котлеты, стерлядь, пироги. Хотя... – он задумался – ваши пышки ничуть не хуже петербургских пирожных.

Она оживилась:

– Значит, у нас тоже есть чем удивить столицу! А ты был... на настоящем балу? С оркестром, свечами, дамами в белых перчатках?

Герман кивнул.

– Был пару раз. Первое время я только смотрел – боялся что-то сделать не так. Потом привык. Там много света, музыки, но мало правды. Искусственные улыбки.

Он повернулся к ней:

– У вас, за этим столом, мне куда спокойнее. Что ты читаешь?

– Я закончила книгу... перевод с русского. Кажется, Карамзина. «Бедная Лиза». Знаешь?

– Знаю, печальная история...

– Очень печальная, – согласилась она. – Но добрая. Мне понравилась. А ещё мне нравятся ваши народные сказки. Они такие странные, совсем не похожи на наши.

Потом, будто вспомнив что-то важное, она добавила:

– Ты спрашивал, чем я сейчас занята? Я вышиваю картину «Добрый пастырь». Видела её в кирхе, она мне так понравилась... там Иисус держит ягнёнка, смотрит так тихо...

Герман наклонился чуть ближе – незаметно для остальных.

– А можно будет увидеть, когда закончишь?

Она кивнула:

– Конечно. Только не смейся, если будет не очень ровно. Я не мастерица. А ты долго будешь здесь?

– Ещё не знаю.

Тереза отвела взгляд, будто ей стало жарко возле камина. Она поправила складку скатерти, чтобы скрыть смущение, и тихо сказала:

– Знаешь, ты так изменился за эти годы. Ты стал серьёзнее. Но всё равно... тот же.

Это «тот же» прозвучало особенно тепло – как признание, которого она ещё не решилась сказать прямо.

Разговор их прерывался тостами, шутками, рассказами соседей. Они говорили обо всём: о детстве, о Германии, о Петербурге, о книгах, о праздниках... И чем дольше говорили, тем больше Герман чувствовал: рядом с ней он не старается казаться кем-то – он есть.

После ужина отец Терезы налил им обоим по бокалу:

– Герман, ты был для нас всегда как сын. Ты человек надёжный, трудолюбивый... Оставайся. Дом наш большой, дело мое – крепкое. Терезе нужен муж, который будет ей надёжной опорой. Подумай об этом.

Тереза при этих словах покраснела и опустила глаза. Герман почувствовал, как в груди поднимается тихое, давно забытое чувство – не страсть, не восторг, а то редкое, серьёзное тепло, которое бывает только с теми, кого знаешь с детства.

Ужин завершился тёплыми пожеланиями, и, выходя в ночь, Герман будто вышел не только из дома, но и из прежней жизни – старой, метушейся, петербургской.

Глава 12. Трудный выбор

Герман решил пройтись по улицам, ещё полным запахами жареных блинов и дымка от печей. В голове роились мысли, каждая тянула его в свою сторону, как две разные дороги.

Тереза. Деревенский образ, родной, с запахом свежее испечённого хлеба, с тёплым взглядом и простой ясностью. Она знала его слабости и детские выходки; в ответ на робкую страсть глаза становились мягкими. С Терезой всё было ясно: стакан чаю на кухонном столе, чинный звон колокола по вечерам, будни без масок. Отец Терезы предлагал не только её руку, но и наследство, возможность спокойно жить, растить детей, не искать признания на чужих балах. Тереза была светла не внешним блеском, а природной ясностью. Он вспомнил, как во время масленичного ужина она ловко перевязала запястье младшей сестры, поправила прядь волос, не думая о том, кто смотрит. Простое кремовое платье подчёркивало её тихую, спокойную красоту; улыбка была мягкой, почти детской, без игры и притворства.

Лиза. Свет, блеск, театры, письма, салонные разговоры и редкие минуты близости, которые казались острыми и важными. С Лизой он ощущал значимость: рядом с ней его труд и амбиции обретали оправдание, открывался шанс на признание, на жизнь, где имя имеет вес. Это была жизнь с движением и возможностями, но и с постоянной борьбой: интриги, церемонии, риск потерять себя, тратить силы на соответствие. В мыслях всплывали светские залы, зеркала, искусственные улыбки. Лиза в облегающем платье и открытом декольте – красиво, но отдалённо, словно он был участником спектакля, в котором не всегда разгадывал свою роль. Она говорила легко, но почти всегда о том, что услышат другие; её комплименты звучали как реплики, выученные перед зеркалом, улыбка – уверенная и напоминала о цене, которую она знала себе.

Он взвешивал практическое и духовное. С одной стороны, Лиза и Петербург – соблазн амбиций; с другой – Тереза, возвращение к себе, к «я», которое в столице утратило форму. Цена была ясна: за карьеру и блеск – вечная борьба и компромиссы, за покой – отказ от общественных высот и уступка фантазии о славе ради простой человеческой радости.

Вспышки воспоминаний решили многое. Он вспомнил, как Тереза однажды удержала его руку в дождливую ночь, как её смех лечил страх, как на её лице не было холодной гордости, что он видел у Лизы. Петербургская жизнь теперь казалась не только манящей, но и опустошающей: слишком много притворства, слишком мало сил для игры.

Он представил два возможных завтра в деталях. В одном – тесная комната городской квартиры, оркестр отдалённого бала, женщина в зеркале – прекрасная, но чужая, приглашения,

сделки, объяснения. В другом – утро в доме с запахом кофе и свежих блинов, маленькие следы детских ножек, колокол кирхи один раз в час, спокойный разговор с супругой, уверенность, что дом – его. Второй образ показался честнее. Мотивы выбора не были только рациональными. Любовь к Терезе снова оказалась глубокой, она давала ощущение дома, принадлежности. Он чувствовал долг: мать просила вернуться, земля, где корни не вырваны, и честность перед самим собой – больше не быть персонажем чужой игры, где приз – положение в обществе. Ему хотелось простоты, совместного труда и доверия.

Решение созрело тихо, как внутреннее «да». Он понимал последствия – отказ от Петербурга, возможные упрёки, но видел и приобретение: партнёрство, дом, возможность быть любимым за себя, а не за социальный статус. Его выбор мотивировало желание принадлежать к месту, человеку, простому ритму жизни, который мог бы исцелить прежние амбиции и дать новую цель. Тереза была любовью из прошлого и нужным человеком для будущего, где строится не мнимая слава, а прочное счастье.

Лиза казалась далёкой, как высокое окно, куда нужно карабкаться, доказывать значимость; Тереза – открытая дверь, шагнул – и тебя принимают таким, какой ты есть. Лиза блестяща, сложна, рядом с ней он ощущал лёгкое напряжение, словно должен оправдывать её выбор. С Терезой он был не претендентом, а человеком. Лиза жила в мире слов, Тереза – в мире дел. Лиза могла обещать поддержку, но её жизнь была тонка и хрупка для настоящих испытаний; Тереза знала труд, заботу, её молчаливое участие глубже всяких заверений. Эти детали окончательно решили внутренний счёт: одна – женщина света, но холодного; другая – женщина тепла, от которого оживает всё внутри. Ему нужно было именно тепло.

Он достал лист бумаги и ручку и начал письмо Павлу Томскому.

«Дорогой Павел,

Пишу тебе, не откладывая ни на час, ибо знаю: если бы я позволил себе ночь размышлений, мог бы снова запутаться в колебаниях. Сейчас же решение моё ясно, и я спешу сообщить его тебе – как ближайшему другу, свидетелю моих петербургских лет и участнику многих моих слабостей.

Я не возвращусь в Петербург.

Причины мои просты и, думаю, понятны тебе. Здесь, на моей родной земле, я нашёл то, что давно утратил в столичной суете: покой, ясность и то участие человеческое, которое, увы, никогда не мог заслужить в Петербурге. Я принял решение связать свою жизнь с Терезой, дочерью моего старого соседа. Её семья приняла меня с таким доверием, какое обязывает не словом, но делом. Здесь я наконец ощущаю, что могу быть полезен и что моя жизнь будет иметь смысл, отличный от вечной гонки за призраками.

Прошу тебя передать Лизе моё искреннее прошение о прощении. Я виноват перед ней тем, что был непоследователен, что увлёкся её светом, не зная до конца самого себя. Она достойна человека гораздо лучшего, надёжного, твёрдого, а не такого, как я, всё время мечущегося между долгом и страстью. Верю, она найдёт счастье, которое не сумел бы ей дать я.

Что касается моих дел в Петербурге – при сем прилагаю заявление об увольнении со службы. Покорно прошу тебя распорядиться моими вещами. Книги сохрани до моего дальнейшего распоряжения. Вещи из моей комнаты можешь распродать или что-то оставить себе – как сочтёшь нужным. Комнату у хозяйки прошу освободить и рассчитаться за последний месяц. И ещё одно – самое трудное признание: я намерен окончательно избавиться от карточной зависимости. Ты знаешь, что карты были для меня источником не удовольствия, а разрушения. Здесь, в тишине и простоте, у меня есть шанс вырваться из этой путы. Прошу тебя – если до меня дойдут слухи о моей слабости, обрывай их. Я хочу, чтобы прошлое осталось прошлым. Ты, Павел, всегда был мне ближе всех. Верю, что ты поймёшь мой выбор, пусть он и кажется внезапным.

Не сердись. Я благодарен тебе за всё: за дружбу, за прямой характер, за терпение к моим порывам. Пусть же и это письмо будет последним моим порывом – но, наконец, верным. С неизменным уважением и благодарностью, Герман.

P. S.

Павел, если бы ты видел, с какой тревогой я вывожу эти строки... Мне страшно – не скрываю. Страшно, что, может быть, я совершаю ошибку, что, вырвав себя из петербургской толпы, лишаюсь чего-то важного. Но ещё страшнее – вернуться назад, зная, что там я снова стану тем же человеком, который живёт не своей жизнью. Прошу тебя понять, я ухожу от самого себя прежнего. Если когда-нибудь я окажусь не прав – знай: я ошибался честно».

Дважды перечитав письмо, Герман сложил лист, вложил в конверт, запечатал каплей воска, оставив дрожащий отпечаток перстня. Взяв шинель, он вышел на улицу. Месяц низко висел над домами. Шёл быстро, почти бегом, опасаясь, что замедление вернёт старую нерешительность. Почтовая станция уже виднелась – тёплое жёлтое окно. Дверь скрипнула, и почтмейстер, сонный и добродушный, поднял глаза.

– Отправить, – коротко попросил Герман, вынимая письмо.

Монеты звякнули. Почтмейстер кивнул, даже не подозревая, что держит в руках письмо, от которого заканчивается одна и начинается другая жизнь.

Глава 13. Бегство

Вечер опускался на город мягко, как занавес после спектакля. В окнах соседних домов зажигались огни, по мостовой стучали редкие шаги прохожих, а в его родительском доме стояла тишина, какая бывает лишь там, где недавно оборвалась жизнь. Всё казалось удивительно простым: остаться здесь, не возвращаться в Петербург, жениться на Терезе, которую он знал с детства, открыть новое спокойное существование без долгов, без страха, без шепота придворных сплетен, без карт.

Он уже отправил письмо Томскому – длинное, смиренное, с извинениями. Он отнёс его на почту и, возвращаясь, поймал себя на странном чувстве облегчения.

На столе лежал архив, переданный адвокатом: аккуратные папки, несколько связок писем, документы. Герман перебирал их без интереса, скорее по долгу сына, чем по живой памяти. И вдруг под пальцами он ощутил плотный запечатанный конверт, перевязанный шнурком. На нем дрожащей рукой было выведено: «Открыть только после моей смерти».

Одно это уже вызвало странный укол под сердцем.

Он сел, распечатал конверт, материнский почерк был знакомым. Он начал читать... и на третьей строке рывком встал, отодвинув стул так, что тот упал. Несколько минут он ходил по комнате, словно не мог найти воздуха, потом резко схватил бутылку рейнского, налил себе почти полный стакан и выпил до дна. Руки у него дрожали.

Он снова сел и начал читать.

«Мой дорогой мальчик, мой Герман,

Если ты читаешь эти строки, значит, меня уже нет рядом. Прости меня за то, что я скажу – но унести эту тайну в могилу я не могла. Я боялась, что правда тяжело ляжет на твоё сердце, но ещё больше боялась, что кто-то другой однажды скажет её тебе без любви и жалости.

Ты не наш родной сын. Твой отец и я не дали тебе жизнь – но мы дали тебе всё остальное, что могли.

В 1807 году отец служил в Петербурге управляющим имением у графини Нарышкиной, в доме, где царили богатство и несчастье пополам. Однажды, зимой к нам на порог подбросили корзинку. В ней был ты – младенец, укутанный в дорогую ткань, с золотым крестиком на груди и

кошельком с деньгами. На дне лежала записка, тебя зовут Герман и ты крещен в православной церкви.

Мы должны были отнести тебя в приют, но не смогли. Я тогда не имела детей и уже отчаялась их иметь. Я увидела тебя – маленького, беспомощного, и поняла, что Бог дарит нам шанс, которого мы не ждали. Мы оставили службу и уехали в Германию. Здесь никто не задавал лишних вопросов.

Но каждый год, в день твоего рождения 16 февраля, нам приходило письмо из Петербурга – без подписи – и внутри был вексель. Деньги, иногда очень значительные. Значит, кто-то следил за твоей судьбой, кто-то заботился о тебе издалека. Я уверена: твои настоящие родители – люди знатные и богатые, возможно, петербургские аристократы. Может быть, они были вынуждены расстаться с тобой, но не забыли тебя ни на один день.

Я всегда верила, что однажды ты их найдёшь. В Петербурге – там, где твоё начало. И ещё одно, сын мой. Это скажу как мать, желающая тебе не зла, а правды. Ты крещён в православии. Наша соседка Тереза – добрая, кроткая девушка, но она лютеранка. Церковь не благословит ваш брак. А если твоя родословная так высока, как я думаю... тебе рано привязывать свою судьбу к ней. Подумай об этом.

Прости нас, если сможешь. Мы любили тебя всем сердцем. Быть может, это единственное, что у нас было настоящего. Твоя мать».

Когда он дочитал, он не сразу понял, где находится. Казалось, стены комнаты отодвинулись, пол ушёл вниз, а прошлое раскололось надвое.

Его охватила волна стыда, злости, боли, и вдруг – странного, пронзительного одиночества. Он прошёлся по комнате, снова налил себе вина, и подошёл к окну. Вечер окончательно опустился, и в огнях города он вдруг увидел своё детство – маленьким, босым, смеющимся мальчиком... И всё это оказалось иллюзией, крышей над чужой судьбой.

Тереза... Она, казалось, ещё утром была ответом на все его сомнения. Лёгкая жизнь, спокойная, понятная. А теперь – несоответствие, вероисповедание, да и что он мог ей дать, если сам не знает ни своего имени, ни рода? А Петербург... Петербург вдруг встал перед ним как огромная тень – пугающий, таинственный, но влекущий. Там жили те, кто посылал деньги. Те, кто, возможно, ждали его.

Он не спал всю ночь. Несколько раз перечитывал письмо. Смотрел на **золотой** крестик – маленький, старинный, аккуратной работы. Он провёл пальцами по его граням – и чувствовал, как внутри поднимается волна нового решения. Когда первый холодный свет коснулся крыш, он резко оделся, схватил шляпу, и почти бегом бросился к почте. У дверей он столкнулся со служащим, который только собирался запереть ящик для отправки корреспонденции.

– Минуточку! – выдохнул Герман. – Письмо... моё письмо в Петербург... Я должен его забрать! Служащий узнал его, пошарил среди ещё не распределённых отправок, и протянул конверт.

Выйдя на улицу, он медленно, почти торжественно разорвал свое письмо пополам. Решение созрело в нём с такой ясностью, какой не было у него ни в одном дне его немецкой поездки. Он поедет в Петербург. Он узнает правду. И только там – станет собой.

Так закончился один путь – и начался другой. Гораздо опаснее, гораздо труднее – но настоящий. Он стоял на крыльце дома, всё ещё чувствуя под пальцами шероховатость разорванного письма. Небо светлело, и холодный воздух резал щёки, отрезвляя и подталкивая.

Медлить было невозможно. Он чувствовал, что если задержится хоть на минуту, всё вокруг – знакомые улицы, запах хлеба от пекарни, дымы из труб, Тереза – снова обовьют его, успокоят, убаюкают... и уже не отпустят. Он быстро вошёл в дом и начал собирать вещи – без разбора, лишь самое необходимое: несколько рубашек, дорожный плащ, складную бритву,

документы, шкатулка с деньгами, векселя, письмо матери и крестик, который он положил в самый внутренний карман. Чемодан захлопнул, защёлки едва держались.

Он окинул взглядом дом – детство, прошлое, ложная кровная линия, которую он только что потерял навсегда – и вдруг почувствовал, как от всего этого веет тяжестью. Он подошёл к двери, вынул ключи, на мгновение задержался. Подумал: если вернусь – сниму их с гвоздика. А если нет... пусть висят. Пусть дом остаётся закрытым прошлым.

Он повесил связку ключей на старый железный гвоздь в косяке – так, как делала его мать – и, не оглянувшись, вышел. Двор был пуст. Тишина стояла такая, будто город ещё не проснулся и не знает, что он – уже не его.

Герман побежал. Сначала быстрым шагом, потом всё быстрее, пока холодный воздух не сжал грудь. Камни мостовой гулко отзывались под сапогами. Из-за угла уже тянулся узкий дымок – почтовая станция разводила огонь для утренних сборов.

Перед станцией стоял дилижанс, запряжённый свежими лошадьми. Проводники суетливо увязывали баулы, а возчик подтягивал ремни.

– На Петербург? – спросил Герман, тяжело дыша.

– Если успеете, господин, – ответил возчик. – Через минуту отправляемся.

Он вскинул чемодан, заплатил за место, поднялся по ступеньке внутрь – всё машинально, почти не осознавая, что делает, как будто какая-то сила, не зависящая от него, подталкивала его в этот деревянный ящик, на эту дорогу через всю Европу.

Когда дилижанс тронулся, он выглянул в окно. Город ещё спал. Только в окне знакомого дома мелькнула тень – лёгкая, едва заметная. Тереза отдернула занавеску, словно почувствовала, что что-то происходит. Она не увидела его лица в тени дилижанса. Герман глубоко вздохнул, чувствуя, как колёса нарастающим темпом отбивают стук судьбы.

Впереди была дорога. Петербург. Тайна рождения. И новая, чужая, пугающая, но необходимая жизнь.

Глава 14. Назад пути нет

Дилижанс покачивался, будто вздыхал на каждом ухабе. Герман сидел у окна, держа на коленях дорожный саквояж, но все его мысли были прикованы к тонкому сложенному листку – письму матери. Он развернул его уже в который раз: кожа пальцев запомнила мягкую шероховатость бумаги, пропитанной запахом старых чернил и чего-то родного, словно хранила тепло её рук, и от этого читать было тяжело – будто он прикасался к последней ниточке, связывающей его с прошлой жизнью.

Слова о настоящих родителях никак не укладывались в голове. «Богатые... петербургские... аристократы...» – звучало почти как сказка, но сказка, от которой не становится светло. Кто они? Какие имена скрываются за этим осторожным признанием?

Кто может быть его отец? Герман мысленно перебирал фамилии, знакомые по газетам, по разговорам с друзьями, по редким упоминаниям в петербургских салонах, где ему приходилось бывать в качестве зрителя, но никогда участника. Коммерческий советник? Генерал? Министерский сановник? Один из тех, чьи фамилии печатали в газетных новостях о приёмах у министра внутренних дел? Или что ещё причудливее – кто-то из придворных кругов? Фамилии сами всплывали в памяти: Татищевы, Оболенские, Дашковы, Щербатовы... Но, казалось нелепым примерять их к собственной жизни, к его дешёвому сюртуку, к его маленькой комнате в Петербурге.

Он пытался представить себе этих людей и поставить себя на их место. Почему они от него отказались? Опасались скандала? Он – ребёнок, рождённый от связи, которой не должно быть? Или, наоборот, ребёнок законный, но вынесенный за скобки ради карьеры, наследства. И

сами они не хотят быть узанными. Семейные интриги? Политическая осторожность? Или, наоборот, нечто слишком значительное, чтобы раскрыть правду?

Как бы то ни было, навязываться он не собирается. Он не пойдёт к незнакомым дверям с протянутой рукой, как нищий, требующий признания. Нет. Но знать – да, знать он имеет право. Иначе вся жизнь останется недосказанной фразой.

Может ли он узнать правду в Петербурге? Что у него для этого есть? Письмо матери. Крестик – простой, но старинной работы, золотой, с едва различимым клеймом мастера. Вексель. И почерк на конверте: строгий, уверенный, с характерной длинной нижней петлёй буквы «у». Если бы он попал к хорошему секретарю в каком-нибудь ведомстве, тот смог бы узнать, чьи письма похожи по манере письма... Но это звучало безумно. Петербург велик – слишком велик.

Он поймал своё отражение в дрожащем стекле окна – бледное, усталое, в сюртуке, который был ему верен много лет. Если он действительно аристократ по рождению, если его кровь принадлежит другому сословию, – что тогда? Выходит, вся его жизнь до сих пор была чужой? Должен он переменить свою жизнь?

Тогда, как ему жить дальше? Мысль об этом пугала больше всего. Он, если мать написала правду, принадлежит к другому миру. Миру, где важны не труд, а род; не талант, а манеры; не умение зарабатывать деньги, а умение держаться в салоне. Он оглядел свои дорожные ботинки – добротные, но потёртые. Свой сюртук – аккуратный, но заштопанный. И впервые ощутил себя будто во временной оболочке, не соответствующей тому, кем он может быть.

Надо сменить квартиру на более приличную, в центре, где живут люди его предполагаемого круга. Заказать фрак у хорошего портного. Учиться вести себя в обществе – наблюдать за людьми в театре, на приёмах, в публичных собраниях? Он понимал, как нелепо это звучит: манерам учиться только теперь, когда другие впитывают их с детства, даже не замечая этого.

Кто мог бы дать ему совет?

Мысль о Лизе возникла внезапно, но не случайно. Лиза умела смотреть прямо, говорить честно, но не обидно. Она понимала его порой лучше, чем он сам себя. Ей он мог бы доверить часть сомнений, не раскрывая тайны письма. Он вспомнил свое обещание привезти ей подарок – редкость, какой нет в лавках, – теперь казалось особенно важным.

Дилижанс остановился на очередной почтовой станции. Герман убрал письмо во внутренний карман, провёл рукой по лицу и снова взглянул в стекло. Ему вдруг стало неловко перед собственным отражением: если я действительно рождён другим, почему же я выгляжу так... обычно?

Он вышел из кабины, распрямился, глубоко вдохнул и вошел. На прилавке торговца со стеклянными коробочками сиял янтарь всех оттенков: от золотистого до тёмного медового. Его взгляд сразу остановился на маленьком камешке янтаря, в котором будто застыла жизнь – миниатюрная бабочка, крылья которой замерли в полёте, словно хотела улететь, но навсегда осталась внутри.

Герман аккуратно взял янтарь в руки, повернул его, чтобы рассмотреть со всех сторон. Бабочка в прозрачной янтарной капсуле казалась живой: крылышки словно колыхались от лёгкого движения воздуха, и солнечный свет пробивался сквозь смолу, окрашивая её в золотые тона.

Это Лизе понравится, она сможет сделать брелок к ключам. Её взгляд всегда ловил такие мелочи, необычные, почти магические. Он представлял, как она будет держать янтарь в руках, разглядывать крошечное чудо, улыбаться, и в этой улыбке увидит часть его собственной души. Он купил камешек янтаря, обернул его в тонкую бумагу и бережно положил в дорожный саквояж.

Дилижанс снова тронулся, а янтарь с бабочкой лежал рядом с письмом матери — два маленьких сокровища, хранящие в себе тайны, надежду и обещания будущего. Петербург приближался — холодный, огромный, равнодушный. Но где-то там, среди сотен каменных особняков и тысяч чиновничьих кабинетов, жила правда о его рождении. И он не был уверен, готов ли её услышать.

Но дорога уже начата. И назад пути нет.

Глава 15. Архив графини

Пока Герман в родительском доме был далёк от петербургских событий, в покоях графини происходило то, что впоследствии сыграло в его судьбе немаловажную роль. И, прежде чем продолжить рассказ о приключениях Германа, нужно сказать, каким образом Лиза получила в свои руки архив графини.

Всё началось с завещания.

Графини уже не было: её смерть на фоне бесконечной зимы словно растворилась в треске замёрзших проспектов и глухом шорохе саней на снегу. Дом опустел, смолкли тяжёлые шаги камердинера и легкий топот прислуги, а Лиза, оставшаяся в знакомых комнатах, всё ещё не могла привыкнуть к тому, что за дверью будуара не услышит ни старческого стога, ни резкого окрика, ни требовательного зова колокольчика.

На третий день после похорон к Лизе пришел поверенный графини — сухой, педантичный человек в очках, светивших, казалось, холоднее февральского солнца. Он принес толстую папку, вынул несколько прошитых листов и начал читать завещание, как читают официальные бумаги, — голосом ровным и безучастным, будто речь шла не о чужой судьбе, а о движении капитала. Однако каждое слово, произнесённое им, падало на сердце Лизы тяжёлым и неожиданным грузом.

Графиня оставляла ей значительную сумму денег — сумму, о которой Лиза, прожившая в узком коридоре обязанностей компаньонки, не могла бы и подумать. Но этим дело не ограничивалось. В завещании предписывалось:

«Доверенной моей компаньонке Лизавете Ивановне поручаю привести в порядок архив, что хранится в моей библиотеке. Изъять бумаги, что могут бросить тень на моё имя, и приготовить всё прочее для публикации спустя сто лет после моей смерти».

Поверенный поднял на Лизу взгляд, столь же сухой, как и его голос.

— Ключи находятся у меня, — сказал он. — Работа предстоит долгая, обременительная и, признаюсь, не всегда приятная. Но воля покойной должна быть исполнена. Вы сможете работать с архивом в покоях графини. Согласно ее завещанию, вы сможете жить в ее доме сколько захотите. Вот записка, лично для вас.

Лиза слушала, не смея прерывать. Её поразило доверие графини — доверие, о котором она при жизни хозяйки и не подозревала. Служанка, которой дозволялось лишь подавать шаль, держать свечу и молчать, внезапно становилась хранительницей её прошлой жизни.

«Дорогая Лиза, — писала графиня, — я знаю, что тебе можно доверять больше, чем кому-либо другому. Моя жизнь была полна событий, о которых мир должен знать, и тайн, которые лучше сохранить. Приведи в порядок все мои письма, дневники, бумаги — чтобы ни одна мысль, ни одно слово не пропало.

Храни мой архив с любовью и осторожностью. Реши сама, кому его передать: Александру Сергеевичу Пушкину — чтобы он написал правду о моей жизни, как она была, без искажений или графу Сен-Жермену — чтобы он уберёг мою честь и защитил память обо мне».

Лиза стояла перед массивным дубовым шкафом в библиотеке, сердце её билось быстрее обычного.

– Всё это ваше. Документы должны храниться вечно, – сказал он, – работайте внимательно, без спешки.

Он передал ей ключ от шкафа. Сквозь стеклянные дверцы Лиза увидела тесно прижатые друг к другу тёмные папки, перевязанные лентами, и узкие свёртки, на которых уже выступала желтизна времени.

– Здесь дневники, письма, счета, черновики, – вам надлежит разобрать всё это и составить подробную опись.

– Но... я ведь никогда... – Лиза запнулась, – справлюсь ли я ?

– Графиня распорядилось так, – строго произнёс поверенный – А значит, вы справитесь.

Теперь Лиза живет в дом графини, уже не как служанка, а как доверенное лицо покойной. Ей отвели комнату рядом с библиотекой, и эта комната превратилась в её кабинет.

С первого же дня она погрузилась в работу. Бумаги пахли старыми чернилами, духами давно минувших лет, пылью старых тайников. Некоторые письма заставляли её краснеть – графиня явно не всегда вела себя так, как того требовала её современная слава благородной дамы. Другие – трогали до глубины души. Были и такие, что Лиза не решилась бы перечитать во второй раз. Она понимала, что от её рук зависело, что переживёт столетие, а что останется погребённым навеки.

Она аккуратно разворачивала письма, отмечала даты, раскладывала дневники по годам. Каждое письмо графини было словно живой голос, обращённый через время.

Она переписывала заметки, делала пометки на полях, сравнивала подписи, даты и адресатов. Порой она улыбалась, порой сжимала губы, удивляясь остроумию графини или грусти, что проступала сквозь строки.

Дни проходили в тишине. По вечерам Лиза зажигала лампу, поправляла косынку и продолжала разбирать папки, аккуратно складывая испещрённые выцветшими строками листы. На столе уже выросли две стопки: одна – «к уничтожению», другая — «к сохранению».

Время от времени Лиза останавливалась, обводила строки в дневниках, делала пометки на полях, словно размышляла вслух: «Почему графиня доверила это мне?»

В одной из шкатулок лежали страницы дневника, разорванные пополам. Графиня видимо хотела их уничтожить, но не успела. Поколебавшись, Лиза поднесла листки к лампе и соединила.

«Ах, моя молодость – пёстрая, легкомысленная, Париж, пахнущий жасмином и воском балов...

Отец посчитал, что воздух французской столицы остудит мою романтическую голову. Как же он ошибался! Париж только разжёт её сильнее.

Я блистала – нет, летала над паркетами. В первый же вечер на балу у маркизы де Вильер я вошла в белоснежном платье, вышитом серебром, и все взгляды повернулись ко мне. Мне казалось, я плыву по залу как лебедь, а музыка – лишь ветер под моими крыльями. Я танцевала до изнеможения, смеялась громче всех, принимала комплименты, не различая их смысла...

Меня привели в карточный клуб. О да, я играла! Париж умеет развлекать юные головы, бросающие монеты с легкостью птичьего пера. И вот в одну ночь я проиграла всё. Не только то, что было при мне. То, чего у меня тогда даже не было. Помню, как сидела над картами – пальцы ледяные, сердце бешеное. Я стала пленницей собственной удачи.

И тогда появился он.

Граф Сен-Жермен.

Он подошёл так бесшумно, будто вышел из воздуха. Стар или молод? Я так и не смогла понять. Его глаза были – как ночное зеркало: в них отражалась я, только будто... опаснее, смелее, безрассуднее.

– Мадемуазель, вы слишком молоды, чтобы лишаться будущего из-за прихоти Фортуны.

Я рассмеялась – смех был звонким, но отчаянным. Он сел рядом и тихо сказал:
– Есть три карты, которые никогда не подводят. Три – и только три. Если знать порядок, можно вернуть всё. И я вам их назову.
Мне казалось, я слышу сказку.
– А цена? – спросила я.
Париж ничему меня не научил, кроме того, что за всё приходится платить.
Он улыбнулся – и от этой улыбки мне стало холодно на плечах.
– Три карты – три ночи.
Я согласилась. Не потому, что была безрассудна, простоя была молода и любопытна – я была молода. Скажу ли я, что эти ночи были мучением? Нет. Были ли они наслаждением? Тоже нет. Это было, как пить редкое вино, зная, что в нём что-то странное, что не предать словами. Он говорил мало. Смотрел долго. И мне казалось, что я постепенно становлюсь прозрачной, будто он смотрит сквозь меня.
Карты он мне тогда назвал, взяв клятву, что я их никому не сообщу. Тройка, семерка, туз. Я играла – и выигрывала. Вернула всё.
Но тайна... нет. Ни мужу, ни подругам я её не открыла. Иногда думаю: может, я и не знала её вовсе, может, это были не карты, а три ночи, что навсегда легли на мою судьбу».
Лиза сидела, держа разорванные страницы. Бумага пахла старым лавандовым маслом – ароматом, который графиня любила. Сердце Лизы билось неровно.
Три карты! Значит, Герман приходил не случайно.
Лиза почувствовала странную смесь дрожи и жалости. Графиня была иной – смелой, легкомысленной, подвижной, как язычок пламени. Как же она могла хранить такую тайну всю жизнь? Но, затем, Лиза поняла. Нет. Графиня не могла это рассказать. Не потому что не хотела. А потому что тайна была не о картах. А о ней самой – о её слабости, цене её юности, тени, которую она несла до конца жизни.
Лиза положила обрывки обратно в шкатулку и заперла ключом. В этой шкатулке будет лежать все, что потом станет пищей огня. Пусть это останется в прошлом, решила она. И, впервые, Лиза почувствовала не страх и не осуждение, а тихую, неожиданную жалость к графине, которая блистала, играла... но в глубине души всегда оставалась одинокой.

Глава 16. Неотправленное письмо

Когда Лиза заметила небольшое заклеенное письмо без печати, спрятанное между хозяйственными счетами 1807 года, сердце её дрогнуло. На конверте аккуратным французским почерком было выведено: «À Monsieur le Comte de Saint-Germain, Paris». Столько лет прошло! Почему письмо так и не отправлено?

Разрезая осторожно конверт, Лиза почувствовала странное предчувствие. Несколько строк, написанных дрожащей рукой графини, ударили по ней, словно ледяная вода. Лиза перечитала эти строки, будто не веря. Сын? У графини? От Сен-Жермена? Это меняло всё. Даже не меняло – разрушало. Наследственное дело, над которым работали юристы, могло обернуться иначе, если правда всплывёт. Она нервно облизала пересохшие губы.

«Дорогой граф!

Ночь опустилась на мой дом, и зимний холод пробирает до костей, несмотря на мягкое тепло камина. Дымок от дров тихо извивается к потолку, наполняя комнату запахом смолы и пепла. Свеча на столе дрожит от лёгкого сквозняка, и её свет отбрасывает на стены длинные, странно живые тени. Скрип половиц где-то в углу напоминает о доме, который спит, и в этом странная безопасность – никто не услышит моих шагов, никто не потревожит моё дитя.

Я держу в руках сына. У меня есть сын. Граф, ваш сын. Роды были удивительно лёгкими, словно сама природа решила смягчить мой грех. Его лицо спокойно, светло, а маленькие ручки сжимаются в кулачки, как будто он уже знает, что должен быть сильным. Я боюсь дышать слишком громко – каждый вдох кажется клятвой хранить его от опасностей мира, который мы оставили за порогом.

Если узнает муж? Господи, этого нельзя допустить. Его гнев был бы разрушительным. Он не простит. Ни меня, ни ребёнка.

Есть только один путь – скрыть правду. Его надо отдать. Слово режет душу, но выбора нет. Я знаю, кому доверить моё дитя. Мой управляющий, немец – степенный, добрый человек, давно мечтает о ребёнке. Его жена – женщина мягкая и заботливая – пронесёт моего мальчика через годы, как свою кровь. Под их крышей он будет жить, не зная тревог, и, может быть, однажды я смогу взглянуть на него издали.

Прощай, мой дорогой мальчик... Ты уйдёшь из моего дома, но не из моего сердца. Придёт день, когда я узнаю тебя по одному лишь повороту головы, по мелкой привычке, по взгляду. Подойти я не смогу, но это будет моё утешение. Ради твоей жизни... ради твоего будущего...

Ветер стучит по ставням, снег тихо стелется за окном, холод проникает в каменные стены дома, а свеча всё ещё горит, отражаясь в глазах сыночка. Слезы катятся по моим щекам, но их не видно в полумраке. Завтра утром я с ни распрощаюсь.

Анна.

16 февраля 1807 года».

В конверте фотография. Лиза поднесла ее к свету. На снимке – крохотный младенец, в тяжёлой шерстяной кофточке, с большими глазами, полными удивления перед новым миром.

Слёзы навернулись на глаза: графиня никогда больше не видела сына. А что делать с этим письмом? Отправить? С кем посоветоваться?

Лиза перечитала эти строки несколько раз, будто не веря. Сын? У графини? От Сен-Жермена? Это меняло всё. Даже не меняло – разрушало. Наследственное дело, над которым работали юристы, могло обернуться иначе, если правда всплывёт. Она закрыла письмо, нервно облизав пересохшие губы.

Кто-то тихо, но настойчиво постучал. Лиза вздрогнула: редкий звук в этом доме, где коридоры были глухи, а шаги – вязкие, будто втянутые старым ковром. Работая над архивом графини, она всегда запирала дверь – привычка, ставшая почти условным рефлексом. Теперь Лиза поспешно вложила письмо в стопку бумаг, сунула её в шкаф, захлопнула дверцу и только тогда повернула ключ.

На пороге стоял камергер. Высокий, сухощавый, в безукоризненно выплаженном фраке, он умел возникать бесшумно – почти как тень, отбрасываемая свечой. С тех пор как графини не стало, он жил в доме постоянно: управлял имением, распределял расходы, разбирал коробки с драгоценностями – всё до окончательного раздела между наследниками. И всё же у него был свой особый интерес, который Лиза чувствовала инстинктивно, как холодный сквозняк.

– Сударыня, – произнёс он мягко, почти вкрадчиво, входя без приглашения. – Вы долго не отвечали, всё работаете? Ах, архив графини... Должно быть, бесценные бумаги? Я подумал, вы, возможно, нашли что-то... значительное.

Он оглядел стол – пустой, как будто на нём никогда не лежало ничего важного. Его взгляд скользнул к шкафу, затем вернулся к ней. Улыбка не изменилась, но стала острее.

– Я надеюсь, что вы позволите мне взглянуть на некоторые документы, – продолжил он. – Вы ведь уже знаете порядок, а я... должен быть в курсе наследственных дел.

Лиза ответила тем самым осторожным тоном, которому научилась за эти недели:

– Это всего лишь старые служебные бумаги. Описи, счета, переписка. Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать.

Она старалась говорить ровно, но чувствовала, как горячо стучит кровь в висках. Камергер на миг задержал взгляд на стопке, под которой скрывалось письмо. Казалось, он чувствует его присутствие, как хищник чувствует добычу.

– Некоторые документы могут быть неправильно истолкованы непосвящёнными, – сказал он, направляясь к двери, но, не сводя глаз с её лица. – Если попадутся неотправленные письма, прошу передавать их мне сразу. Это важнее, чем кажется.

Камергер сделал несколько шагов по комнате, как бы любуясь старинными гравюрами на стенах, хотя смотрел явно не на них.

– Вы слишком скромны. Архив этой семьи неизбежно хранит тайны... – Он сделал паузу.

– И, насколько мне известно, вы умеете обращаться с тайнами.

Это уже было почти прямое испытание. Лиза невольно выпрямилась.

– Я делаю только то, что мне поручено.

Он приблизился слишком близко. От него пахло дорогим одеколоном, который Лиза терпеть не могла – именно потому, что чувствовала его запах и в коридоре, и на лестнице, и даже у двери своей спальни, когда он, как бы случайно, задерживался рядом по вечерам.

– Вы очень преданны, – сказал он негромко. – Уверен, со временем мы найдём общий язык.

Его тон был почти нежным, но под этой мнимой мягкостью чувствовался стальной расчёт. Лиза отступила к двери.

– Простите, сударь, – перебила она, сохраняя вежливость. – Мне нужно работать. Завтра большой день.

Он задержал на ней взгляд – дольше, чем следовало. Затем слегка поклонился.

– Как пожелаете. Но не забывайте: дом большой, и вы всегда можете рассчитывать на моё общество.

Дверь закрылась. Лиза мгновенно повернула ключ – чуть дрожащей рукой. Замок щёлкнул тихо, но этот звук принёс ей облегчение. В этом доме она не боялась ночи, не боялась сквозняков, не боялась даже памяти покойной графини. Но камергер... Он был единственным, кого она действительно опасалась.

Когда он ушёл, в комнате ещё долго стояла тягучая тишина. Лиза стояла неподвижно, пока не убедилась, что его шаги стихли в коридоре.

Она подошла к шкафу, коснулась дверцы ладонью – будто обещала себе, что никому не отдаст того, что доверено ей. Архив графини был не просто бумагами. Там было что-то ещё. Что-то, что камергер хотел получить больше, чем новый титул и власть над имением. И он был уверен, что доступ к этому сокровищу можно купить – тремя визитами, тремя комплиментами... или тремя ночами.

И Лиза знала: его время ещё придёт.

Пока же она просто заперла дверь, вернулась к шкафу и осторожно взяла письмо. Теперь оно жгло руки.

Она думала быстро. Оставить письмо здесь – значит отдать его камергеру. И что он с ним сделает? Спрячет? Уничтожит? Камергер был связан с графиней тайной – это ощущение возникло у Лизы почти сразу. Он мог знать о ребёнке. Мог когда-то участвовать в его исчезновении, передаче, сокрытии. И сейчас он боялся, что правда всплывёт. Письмо надо отправить.

Она оделась, спрятала письмо в сумку и вышла из комнаты, стараясь идти спокойно, хотя каждое движение отдавалось в груди напряжённым стуком. Казалось, тени в коридорах следят за

ней. Один раз она даже обернулась, уверенная, что камергер стоит за углом. Но там никого не было.

Глава 17. Письмо отправлено

Герман приехал в Петербург ранним утром, когда город еще не очнулся, но уже перестал спать. Невские туманы, тяжелые и влажные, тянулись вдоль набережных, и дома, казалось, выступали из них нехотя, словно не желая быть узванными.

Он первым делом поехал к себе.

Квартира встретила его холодом и запахом запертого жилья. Здесь все было по-прежнему – и в то же время все стало чужим. Узкая прихожая, письменный стол у окна, старое кресло, в котором он когда-то проводил бессонные ночи, – все напоминало о прошлом, от которого он пытался уйти и которое, как оказалось, никуда не исчезло.

Герман прошелся по комнатам, остановился у окна. Петербург смотрел на него равнодушно.

– Нет, – тихо сказал он, словно отвечая самому себе. – Теперь здесь жить нельзя.

Эта квартира принадлежала прежнему Герману: расчетливому, одинокому, убежденному, что судьбу можно обыграть, как карту. Тот Герман остался здесь – вместе с ночными видениями, цифрами, шорохом шагов за спиной. Новый – если он вообще существовал – не имел к этому месту никакого отношения.

Он вышел, решив идти к Лизе.

Ему нужно было увидеть ее – не для объяснений, не для оправданий, а просто потому, что без нее Петербург снова превращался в ловушку. И сообщить ей потрясающую новость.

Он шёл к дому графини почти машинально, не вполне отдавая себе отчёт, зачем именно туда. Ноги несли его туда, где слишком многое уже однажды решилось – и не в его пользу. День был сырой, петербургский, с мутным небом и тяжёлым воздухом, в котором звуки казались глухими, а лица — чужими.

Недалеко от дома графини он заметил знакомую фигуру. Лиза шла быстро, прижимая к груди шаль, словно защищаясь от ветра, с тем особым выражением лица, какое бывает у человека, исполнившего неприятную, но необходимую обязанность. Что-то в её походке насторожило его.

– Лиза!

Она обернулась – и на мгновение он увидел на ее лице не радость, а испуг, почти суеверный.

– Герман... вы уже приехали? Я думала, вы ещё в Германии.

– Только что. Я шел к вам.

И, не дав ему ответить, с живостью, почти беззаботно добавила:

– Ну что ж, как ваш родительский дом? Отец, мать?

На мгновение он даже подумал уклониться, отшутиться, как делал прежде. Но теперь ложь показалась ему невозможной, она вдруг стала бы слишком громоздкой.

– У меня больше нет родительского дома, – сказал он спокойно. – И, как выяснилось, никогда не было.

– Что вы хотите этим сказать?

Он вынул письмо. Не подал, только показал, будто предъявлял документ.

– Отца уже нет, и мать умерла. Перед смертью она написала мне... что я ей не сын. Что меня подбросили младенцем. Что мои настоящие родители, вероятно, петербургские аристократы.

Они пошли рядом, сначала молча. Потом он заговорил – отрывисто, будто боялся потерять нить. Он рассказал ей о Германии, о пустом родительском доме, о последних месяцах

матери, о письме, найденном среди ее бумаг. Рассказал о крестике, о ежегодных векселях, приходивших из Петербурга, о страшной догадке, возникшей у него еще до того, как он прочел последние строки.

Лиза слушала, не перебивая. С каждым словом, ее лицо бледнело.

Она не дослушала. Резко вскинула руки – жест почти детский, отчаянный.

– Господи... нет... нет!

И вдруг, не сдержавшись, почти закричала:

– Бегом. На почту. Немедленно.

– Лиза, что случилось?

– Я только что... – она сбилась, ухватила его за рукав, словно боялась, что он исчезнет. –

Я только что отнесла письмо. Письмо графини. В Париж. Сен-Жермену.

Имя прозвучало, как удар колокола.

– Она не отправила его при жизни. Я решила, что так будет правильно. Я не знала. Я не знала, что это о тебе!

Они почти бежали. Не сговариваясь, не оглядываясь, почти не чувствуя мостовой под ногами. Герман слышал только её дыхание – прерывистое, сбитое – и отдельные, вырывающиеся фразы.

Петербург вдруг стал тесным, улицы – слишком узкими, прохожие – помехой. Герман чувствовал, как в нем поднимается то же знакомое напряжение, которое когда-то толкало его к карточному столу.

Они вбежали внутрь. Чиновник пошарил в пачке писем. Ответ был краток и убийственно вежлив.

– Письмо отправлено.

Лиза опустилась на стул, как будто у неё вдруг отняли силы.

– Прости меня... – сказала она тихо. – Это было доказательство. Настоящее. С её рукой. С её словами.

– Что за письмо? – спросил Герман.

Она долго молчала, словно подбирая слова, которые могли бы не разрушить мир окончательно.

– Графиня писала, что подбросила своего новорожденного сына управляющему имением. После того, что вы рассказали, я думаю, что вы, возможно, ее сын. И что ваш отец – граф Сен-Жермен.

Герман почувствовал, как у него закружилась голова.

– Это безумие.

Я тоже так думала. Но после вашего рассказа... после письма вашей матери... это слишком многое объясняет.

Он понял всё сразу. Слишком ясно. Слишком логично.

– И что дальше? – спросил он уже у дверей почты.

– Что она... – Лиза почти плакала, – что она не могла оставить ребёнка при себе. Что отдала его управляющему, надёжному человеку. Что платила. Что следила издали. Что боялась... и его, и света, и прошлого. Это письмо – доказательство, что вы ее сын!

Герман стоял неподвижно.

– Нет, – сказал он, наконец. – Это было не доказательство. Это было подтверждение.

Они подошли к подъезду дома графини, где у входа стоял человек в парадном мундире.

– Камергер, – удивился Герман. – Что он тут делает?

– Он назначен попечителем поместья графини, пока не надеется сын. А ее сын, выходит – вы! Я не хотела, чтобы он увидел это письмо, и решила его отправить. И отправила. Если бы вы

приехали на день раньше, письмо бы осталось, лучшего доказательства ваше происхождения не может быть.

Это слово – попечитель – зазвенело у Германа в голове. Он взял ее руку.

– Сегодня вечером приходите к Томским. Надо поговорить. Посоветоваться.

Он простился с Лизой и пошел домой.

Петербург снова сомкнулся вокруг него. Шаги отдавались гулко, мысли – еще громче.

Графиня – его мать? Граф Сен-Жермен – его отец?

Он остановился. Поднял глаза к серому небу. И Петербург, равнодушный и вечный, промолчал в ответ.

Глава 18. Камергер

Пора представить читателям камергера, без которого события, описанные далее, потеряли бы значительную часть своей скрытой пружины.

Он на первый взгляд скромн, неприметен, занимает в доме графини положение вполне служебное – и всё же его влияние куда шире обязанностей, а присутствие куда темнее, чем это может показаться при первом знакомстве.

В «Пиковой даме» Пушкин отвел ему всего одну строчку, без имени – столь незначительную, что большинство читателей ее и не запомнили. Но отсутствие имени не означает отсутствия роли. Наоборот: иногда именно такие люди становятся тайными узлами, связывающими судьбы, бумажные завещания, людские страсти, а порой – и старые, давно погребённые преступления.

Этот человек – дальний родственник и камергер графини.

Он живёт в доме графини и после её смерти; ходит по коридорам мягкими шагами, всегда появляется в самый неподходящий момент и улыбается так, словно слышит музыку, недоступную другим. Никто не знает, как много он видел, что именно он скрывает и чем объясняется его необычайная осведомлённость. Вы догадываетесь, что он связан с графиней особой тайной, которая пережила свою хозяйку и теперь настойчиво ищет выхода наружу.

Но кое-что о нем известно.

Зовут его Иван Матвеевич Трубецкой, он из древнего, но обедневшего дворянского рода. Его семья происходит из малозаметной ветви, с которым графиня связана дальним родством. Это родство формальное, но Иван Матвеевич всегда использовал его как социальный капитал. Отец его служил по Коллегии иностранных дел, мать – урожденная фрейлина, при императрице Марии Фёдоровне. В семье всегда вспоминали о былой славе, но жили довольно скромно. Иван рос с убеждением, что его задача – вернуть фамилии прежнее значение.

Его служба в гвардии не сложилась – слабое здоровье, да и средств на блестящий офицерский быт не было. Поэтому он выбрал путь, доступный людям его происхождения и стал камергером. Человек он осторожный, избегает публичных споров; холодный и наблюдательный; зависимый от мнения света – это его слабость; вежливый, даже любезный, но за его маской скрывается расчёт и амбиция. Его любят приглашать на балы и вечера – не за остроумие, а за безукоризненные манеры и способность хранить тайны.

Он увлекается картами и нередко рискует, выигрывая и проигрывая.

В тот вечер у Чекалинского игра шла негромко, но напряжённо. Карты ложились на стол сухо, без лишних жестов; деньги переходили из рук в руки почти незаметно.

Появился новый игрок. Камергер наблюдал за ним не сразу. Лишь имя, произнесённое вскользь одним из завсегдатаев, заставило его поднять глаза.

– Герман.

Он играл ровно, без горячности, словно карты были для него не страстью, а задачей. Он мало пил, почти не говорил, и лишь изредка позволял себе короткую, сдержанную улыбку – не игрока, а наблюдателя.

Когда партия кончилась, камергер подошёл к нему сам.

– Позволь представиться, – сказал он с тем спокойным достоинством, которое не требовало ответа. – Иван Матвеевич Трубецкой, камергер. Ты играешь очень аккуратно. Похоже, ты – немец?

Герман встал и слегка поклонился.

– Я и есть немец.

– Герман, у меня есть для тебя интересное предложение. Можно я буду говорить тебе «ты», я ведь на много старше тебя, мне уже за пятьдесят, а тебе, наверное...

– Мне двадцать пять.

– Тем более, – заметил камергер. – Мне кажется, мы могли бы быть полезны друг другу. Не откажешься поужинать со мной?

Герман колебался секунду – скорее из осторожности, чем из нежелания.

– С удовольствием, если вы сочтёте меня подходящей компанией.

Они заняли небольшой кабинет в ресторации неподалёку. Свечи горели ровно; разговор начинался с пустяков – о погоде, о Петербурге, о клубе.

Лишь после второго блюда камергер, как бы, между прочим, сказал:

– Я имею отношение к одному дому... весьма почтенному. Хозяйка его ищет управляющего. Немца. Людей вашей нации считают особенно честными и аккуратными. Он посмотрел на Германа с лёгким, почти равнодушным интересом.

– Ты бы не взялся?

Герман чуть улыбнулся и покачал головой.

– Боюсь, нет. Хотя предложение лестное.

– Отчего же?

– Иван Матвеевич, я – военный инженер. Отец мой, охотно бы взялся, но он умер.

Слово отец камергер отметил мгновенно, но не подал вида.

– Значит, ты здесь живешь с матерью? Наверное, тебе не подошла бы хорошая зарплата, бесплатное жильё.

– Нет, я здесь один. Мать живет в Германии, в Тильзите, где я провел свое детство и юность.

Тильзит, это тот город, куда графиня ежегодно посылает векселя. Он – сын графини.

Он больше не задавал вопросов.

Они расстались учтиво. Камергер пожал руку Герману с особой, выверенной теплотой.

– Если ты передумаешь, дай мне знать.

– Разумеется, благодарю вас за вечер. Я пойду.

Когда Герман ушёл, камергер ещё долго сидел неподвижно. Теперь сомнений не оставалось. Если он войдёт в этот дом как сын, многие двери закроются для меня навсегда. Он расплатился и вышел в ночь. Герман ничего не знает о своей настоящей матери. Что бы ему такое устроить, чтобы он убрался из Петербурга?

А может это не он? С кем бы посоветоваться?

Священник принял камергера в маленькой комнате при алтаре – узкой, прохладной, с запахом ладана и старого дерева. Здесь говорили негромко, как будто сами стены не терпели поспешности.

– Вы пришли поговорить со мной?

– Да, – ответил камергер. – И за советом.

Священник кивнул, предлагая сесть.

– Двадцать пять лет назад, – начал камергер, – вы крестили ребенка. Это был побочный сын графини Нарышкиной. Он появился при обстоятельствах... не совсем обычных. Имя ему было дано по настоянию дамы – Герман. Графиня решила отдать его в немецкую семью, которая вскоре уехала в Германию.

Священник слушал, не перебивая.

– На днях я встретил человека. Немца. Его зовут Герман. Возраст, воспитание, происхождение – всё это странно сходится. Я говорил с ним... и не нашёл в его словах ни вымысла, ни притворства. Может он быть сыном графини? Она сейчас его ищет.

Он сделал паузу.

– Я не утверждаю ничего, лишь боюсь ошибиться: либо назвав истину преждевременно, либо промолчав слишком долго.

Священник сложил руки.

– Вы рассуждаете правильно, в таких делах поспешность опаснее заблуждения. Я помню то крещение, и помню, что имя Герман было предложено дамой с необычной настойчивостью. Это было не случайное слово.

Камергер слегка склонил голову.

– Значит, имя имело значение.

– Имя в крещении, всегда имеет значение. Но одного имени недостаточно, чтобы выстроить судьбу. Совпадения могут быть знаком, а могут – испытанием. Если вы сейчас вмешаетесь и ошибётесь, вы причините боль всем. Лучше наблюдать. Если это действительно тот самый человек, истина найдёт дорогу сама.

– А если нет? – спросил камергер.

– Тогда вы сохраните его от ложной надежды, а её – от нового потрясения, ваше сомнение – признак ответственности.

Камергер поднялся.

– Благодарю вас. Вы подтвердили то, чего я и искал: что молчание не всегда вина.

– Иногда это форма милосердия, – сказал священник и благословил его.

Камергер вышел из церкви и остановился на ступенях. Холодный воздух освежил лицо; колокол отбивал час.

Сомнение – признак ответственности, повторил он мысленно. Но сомнений у него не было. Он знал, что Герман и есть тот самый ребёнок. Имя, возраст, немецкая семья, неловкая осторожность в словах, привычка держаться в тени – всё сходилось слишком точно, чтобы быть случайностью. Если Герман будет признан, он перестанет быть фигурой на расстоянии.

Он войдёт в дом не как гость, а как наследник. А наследник – это не просьба и не милость. Это право. Тогда исчезнет необходимость в посредниках. Исчезнет доверие, выстроенное годами. Исчезнет его собственное место – не сразу, но неизбежно.

Камергер медленно сошёл со ступеней.

Священник прав, доказательств недостаточно. И лучше, чтобы их никогда не стало достаточно.

После смерти графини камергера вызвал поверенный.

Он расправил листы завещания, и в кабинете воцарилась та самая тишина, когда слышно, как шуршит бумага, и негромко стучат старые часы на стене. Иван Матвеевич стоял у окна, будто готовый к удару, которого избежать невозможно.

Он прочёл:

– «В знак признательности и в надежде на исполнение моей последней просьбы, завещаю моему камергеру, Ивану Матвеевичу Трубецкому, сумму в тридцать тысяч рублей серебром, которую он получит единовременно после исполнения следующего: он должен разыскать моего сына и передать ему всё прочее наследство в целости и порядке».

Камергер поднял голову. На лице его не было ни удивления, ни радости – только напряжение человека, который понял, что на него возложили не только обязанность, но и огромную ответственность.

– Тридцать тысяч, – тихо повторил он.

– Да, – кивнул поверенный. – Но вы получите деньги только тогда, когда найдёте наследника – сына графини. До завершения поисков наследника вы назначаетесь попечителем имения. Вы обязаны сохранять недвижимое имущество и основной капитал в неприкосновенности, вести текущие дела и отчётность.

Он сложил все бумаги.

– Иван Матвеевич, желаете сразу приступить к обязанностям попечителя?

Камергер кивнул.

– Да. С завтрашнего дня.

Глава 19. Вечер без карт

Вечер у Томских был из тех петербургских вечеров, когда дом, словно нарочно собирает под своей крышей людей, чтобы сплести их в один узел. Столовая, освещённая мягким, уже не праздничным, а доверительным светом свеч в бронзовых канделябрах, дышала уютом и спокойствием. Двери гостиной были распахнуты, и мягкий запах чая, апельсиновой цедры и табака смешивался с холодным дыханием петербургской весны. Тяжёлые шторы задёрнуты, серебро убрано, слуги удалены – всё говорило о том, что разговор предстоит не светский, а важный.

Герман вошёл вместе с Лизой. Он держался прямо, почти напряжённо, словно каждый шаг по знакомому дому требовал от него усилия. Лиза, напротив, казалась спокойной; лишь тот, кто знал её хорошо, заметил бы, как иногда она сжимала пальцы, словно удерживая себя от преждевременных слов.

Томский поднялся им навстречу с тем живым, немного ироничным выражением лица, которое всегда отличало его от других светских людей.

– Ну, вот вы и вернулись из Германии, – сказал он, крепко пожимая Герману руку. – Мы уж думали, вы решите остаться там навсегда, среди педантов и философов. Как поживает ваша матушка? Похоже, вы вернулись из Германии не только с дорожной пылью, но и с новостями?

Полина, хозяйка дома, приблизилась к ним почти торжественно. В её взгляде было не любопытство, а скорее живой, деятельный интерес – как у человека, который уже мысленно раскладывает будущие хлопоты по полочкам.

– В таком случае, – сказала она, – садитесь за стол и рассказывайте. Важные новости не рассказывают у дверей.

Герман сидел несколько прямо, чем следовало бы за домашним столом, и это напряжение не ускользнуло от Полины. Лиза, рядом с ним, казалась спокойнее – или лишь умела лучше скрывать волнение. Томский, привычно уверенный, разливал вино и бросал на гостей быстрые, внимательные взгляды, будто уже примерял к нему новую роль. Сурин, развалившись на стуле, улыбался – редкий случай, когда он был не ироничен, а искренне доволен происходящим. Он кивнул Герману с той дружеской небрежностью, за которой скрывалась искренняя привязанность.

Нарумова не было, и это отсутствие чувствовалось: за одним из кресел словно оставалась пустота, нервная и беспокойная.

Когда все расселись, Герман на мгновение замолчал. Он посмотрел на лица вокруг – внимательные, открытые, удивительно благожелательные – и понял, что именно здесь, за этим столом, ему впервые не нужно будет защищаться.

Он не стал тянуть. Коротко, почти сухо рассказал о письме матери, написанном уже дрожащей рукой; о признании, что он – не её родной сын; о догадках, сомнениях, обрывках прошлого, которые внезапно сложились в пугающе ясную картину. О словах Лизы он упомянул осторожно, не называя имён прямо, но все за столом поняли, о ком идёт речь: графиня и загадочный Сен-Жермен, чьё имя, произнесённое вслух, будто охладило воздух.

В комнате стало тихо. Даже огонь в камине, казалось, притих.

Первым заговорил Томский. Он не выказал ни изумления, ни скепсиса – только привычную рассудительность.

– Если отбросить романтическую сторону дела, – сказал он, – вопрос сводится к одному: может ли это быть доказано. Происхождение – вещь не поэтическая, а юридическая. Свидетели, письма, даты, показания... Если вы решите, Герман, признать себя наследником, это может сделать только суд. Я возьмусь вас представить в суде. Давайте рассмотрим доказательства. Что у вас есть? Письмо матери – отлично. Крестик? Тоже подойдет. Вексель ко дню рождения? Это – документ. Письмо графини в Париж графу Сен-Жермен? Но его нет. Сможем ли мы его разыскать – неизвестно. Хороший свидетель – камергер, но надо сначала найти карту с его отпечатками пальцев. Тогда он на все пойдет. Предстоит немалая работа.

Только суд может поставить точку. Не сплетни, не домыслы, не даже признания, если они не подкреплены доказательствами. Но если доказательства есть, если письма, документы, свидетели – тогда, Герман, вы вправе требовать большего, чем молчаливое существование на обочине чужих тайн. Вы вправе потребовать признать вас наследником.

– Я понимаю, – ответил Герман. – Я не ищу титула. Я ищу имя.

– А имя, – заметил Томский, – в нашем обществе иногда дороже золота. Но, – он улыбнулся, – у вас есть редкое преимущество: вы не один.

Полина наклонилась вперёд, и в её глазах мелькнул живой, почти озорной огонёк.

– А пока суд будет думать и взвешивать, – сказала она, – вам необходимо выглядеть так, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что вы принадлежите к нашему кругу. Манеры, Герман, – это не пустяк. Они часто убеждают быстрее любых бумаг. Я займусь вами. Внешность, визиты, разговор – всё должно быть безупречно.

– И жильё, – подхватил Сурин, стукнув ладонью по столу. – Нельзя же будущему наследнику ютиться, где попало. Я знаю пару домов – светлых, приличных, с хорошей репутацией. Мебель, портной, сапожник – всё устроим. Петербург любит тех, кто умеет в нём жить.

Лиза слушала, слегка улыбаясь, а Герман чувствовал по этому одобрению и почти праздничному тону: его принимали. Не как бедного офицера с тёмной историей, а как человека, чьё место ещё не определено, но уже признаётся возможным и даже законным.

– Поздравляю, – сказал Томский и поднял бокал. – С началом новой жизни. Она, как видите, начинается не с карты, а с правды.

Все поддержали тост. А Герман позволил себе короткий, искренний поклон – не жест, а благодарность.

Когда вечер подошёл к концу, и он с Лизой вышел в холодный, звёздный воздух, шум дома остался позади, словно закрытая книга. Некоторое время они шли молча.

– Герман, – сказала Лиза, – мой отец хочет с вами встретиться. Вы знаете, он человек не простой. Он сказал, что должен сообщить вам нечто важное. Не завтра и не через неделю – как можно скорее. Завтра.

Герман посмотрел на неё внимательно, будто в этот миг понял, что его путь только начинается, и что впереди будет не меньше тайн, чем позади.

– Я готов, – ответил он. – После этого всего меня уже трудно удивить.

Лиза кивнула, но в её взгляде мелькнула тень: она знала, что удивление ещё впереди.

Так закончился этот вечер – без карт, без тайн за закрытыми дверями, но с тем редким чувством, когда прошлое перестаёт быть проклятием и начинает становиться дорогой.

Глава 20. Сегодня – ты, а завтра – я

Герман подошёл к скромному дому декабриста на тихой петербургской улице. Легкий вечерний туман обволакивал фасады, создавая ощущение, что он вступает не просто в дом, а в пространство чужой судьбы. Лиза, открыла дверь и кивнула ему, проводя в небольшую комнату, с картами на столе, стопками книг и картой Парижа на стене.

Александр Платонович Туров, седой, но с прямой спиной, сидел за столом. Он посмотрел на Германа с той же внимательной холодностью, что и в больнице, и Герман понял, что сейчас начнётся рассказ, который изменит многое.

– Добрый вечер, – приветствовал он хозяина, – я рад видеть вас на свободе.

– Да, меня признали вменяемым, и доктор взял у меня клятву не заниматься политикой. Я ждал тебя.

Герман сел напротив, сдержанно, но настороженно, ощущая, что каждое слово будет значить больше, чем, кажется.

Туров начал с Парижа 1815 года, куда вошла русская армия.

– Я пришел в известный карточный клуб графа Сен-Жермена. Месье, – обратился я к нему, позвольте ли составить вам компанию?

Он поднял глаза, словно взвешивая, стоит ли отвечать, и улыбнулся лёгкой, почти незаметной улыбкой.

– Компанию? Я рад новым лицам, садитесь. Вы из Петербурга? Россия... Мне Петербург особенно интересен. Я знаю русский язык – его тонкие звуки и силу слов. Моя мать русская. Я давно мечтал увидеть ваш город. Но это будет не обычный визит. Я изменю фамилию, чтобы быть свободным от прошлого. И научу русских игре Фараон.

– И вы уже знаете, что из России можно извлечь? – спросил я

– Знаю, – спокойно ответил Сен-Жермен. – Там другая жизнь, свои страсти и свои слабости. Но люди похожи на всех: любят проверять удачу, подчиняются судьбе, не зная её. Мне интересно, как они реагируют на игру. Фараон учит терпению, расчёту, иногда жестокости. Это полезнее любой науки.

Он откинулся на спинку кресла и снова посмотрел на карты:

– Но предупреждаю: я не преподаватель ради игры. Я наблюдаю за людьми, как за шахматной доской. Сегодня вы здесь – это лишь случай. Завтра вы сами станете фигурой, которая будет проверять других...

– Я тогда проиграл ему крупную сумму, и он тихо пропел: «Сегодня – ты, а завтра – я». Тогда это показалось мне шуткой или философской иронией, но память об этих словах сохранилась, особенно когда ты, ещё в больнице, повторял их в бреду о Чекалинском. И появилось это подозрение. Чтобы убедиться, я пришёл в карточный клуб, где играл Чекалинский.

Он был в усах и бороде, но их легко наклеить, чтобы изменить лицо. Его движения, жесты, взгляд – привычные и точные. Особенное внимание я обратил на руки: привычка держать **талью** двумя пальцами, лёгкая пауза перед ставкой. Но решающей оказалась его интонация: низкий тембр, лёгкий французский акцент, который нельзя подделать. И вдруг прозвучала та же песня, что в Париже: «Сегодня – ты, а завтра – я». У меня в Париже есть приятель, я с ним связался и попросил сходить в карточный клуб Сен-Жермена, он сообщил, что клуб закрыт.

Это не совпадение, это подтверждение. Я подозреваю, что граф Сен-Жермен и Чекалинский – один и тот же человек.

Герман слушал, напряжённо всматриваясь в лицо Турова. Он понимал, что эта информация меняет его прежние убеждения. Первое, что он осознал: масштаб и опасность Сен-Жермена. Второе: он сам остаётся объектом испытания. Третье: действовать придётся осторожно, наблюдать и предугадывать, не доверять интуиции полностью. Он молча кивал, задавая уточняющие вопросы только по фактам, собирая в голове каждую деталь, чтобы потом использовать знание, предвидеть шаги Чекалинского и контролировать ситуацию.

Лиза тихо наблюдала со стороны. Туров предупредил Германа:

– Знание, которое не передают, начинает мстить. Вы должны быть осторожны.

Герман вышел в ночь, ощущая тяжесть новых знаний. В голове звучали слова песни: «Сегодня – ты, а завтра – я». Значит, он в той последней игре, возможно, проиграл все свои деньги отцу? Но пока, это только подозрение, а как узнать правду?

Он понимал, что теперь вступил в игру, которую нельзя проиграть, и что следующий шаг – его собственный выбор.

Клуб Чекалинского по-прежнему был открыт и Герман решил снова увидеть... возможно своего отца. Он вошёл в карточный клуб без обычной для этого места цели. Он не взял фишек, не сел у стола и даже не подошёл к знакомым; занял место в стороне, у колонны, откуда был виден весь зал. Свет ламп отражался в зелёном сукне стола, бросая тени на лица игроков. Здесь пахло воском, табаком и напряжением – тем особым, густым воздухом, который рождается там, где люди ставят на карту больше, чем деньги.

Чекалинский сидел во главе стола. Он был, как всегда, нарочито незаметен и в то же время притягателен взглядом: плотный сюртук, тёмные перчатки, спокойная, почти скучающая осанка. Он сидел прямо, руки аккуратно положены на стол, словно каждое движение выверено заранее. Его усы и борода скрывали лицо, но Герман уже знал: это может быть маска.

Он следил за руками Чекалинского, как тот брала карты: лёгкая пауза, два пальца удерживают край, третьим слегка поправляет фишку. Привычка, которая осталась от Парижа, и которую невозможно подделать. Каждое движение было рассчитано, но в нём ощущалась внутренняя импульсивность – маленькая трещина, которую можно заметить, только если смотреть долго.

Он наблюдал внимательно, почти жестко, заставляя себя не отвлекаться на игру. Он смотрел на то, как при удачном ходе тот не улыбался, но едва заметно сжимал губы, будто сдерживал нетерпение. И ещё – на взгляд. Серые глаза Чекалинского, казалось, смотрели сквозь людей, не задерживаясь ни на одном лице, но Герман уловил мгновение, когда этот взгляд скользнул по залу и, на долю секунды, остановился именно на нём.

И в эту секунду что-то кольнуло.

Герман запоминал: жесты, движения рук, паузы перед ставками, тихие фразы, выражения лица. Каждая деталь могла стать ключом. Он понимал, что наблюдает не просто за игроком, а за человеком, который ставит людей на проверку, и что любая поспешная реакция может выдать его. Это было не сходство черт – нос у Чекалинского был иным, лоб ниже, подбородок тяжелее. Но наклон головы... тот самый, который Герман видел в зеркале, когда задумывался, когда мысленно спорил сам с собой. Чекалинский смеялся – тихо, беззвучно, только плечи едва дрогнули. Но этот смех, сдержанный, почти презрительный, был на его смех не похож.

«Сын может и не быть похож на отца», – подумал Герман, и мысль эта уже не казалась ни смешной, ни дерзкой.

Когда Чекалинский встал из-за стола, Герман невольно сделал шаг вперёд – и остановился. Встречи взглядов не случилось. Но ощущение было таким, будто он смотрел не на чужого человека, а на отражение, намеренно искажённое, чтобы не быть узнанным.

И, уходя из клуба, Герман уже знал: он вернётся. Теперь – не ради тайны карт. Ради тайны крови. Он знал, что теперь его цель – изучить, понять, предвидеть, чтобы не стать пешкой в чужой игре.

Глава 21. Первый бал

Весенний бал в Юсуповском дворце начинался еще задолго до того, как первые экипажи останавливались у подъезда. Уже с сумерек окна второго этажа светились ровным золотистым светом, и из приотворённых фрамуг тянуло теплом, музыкой и тем особым, ни с чем не сравнимым запахом – смесью воска, духов, свежих цветов и дорогих тканей, – по которому можно было безошибочно узнать большой петербургский бал.

Герман вошёл неуверенно, почти осторожно, словно боялся задеть этот мир плечом. Он шёл рядом с Томским и его женой – княжной Полиной, которая с самого начала взяла на себя роль его негласного проводника. Она говорила спокойно и уверенно, словно заранее решила: сегодня этот человек должен быть принят, увиден, запомнен.

Залы Юсуповского дворца открывались один за другим – анфиладой света и зеркал. Хрустальные люстры отражались бесконечно, удваивая и утраивая движение. Полированный паркет был так гладок, что казалось – дамы не идут, а скользят. Музыка – то оживлённая, то задумчивая – наполняла пространство, но не заглушала разговоров; она была не главным действующим лицом, а фоном, на котором разворачивалась жизнь.

Герман всё внимательно замечал. Он видел не только блеск мундиров и драгоценностей, но и то, как кто-то слишком поспешно отводит взгляд, как чья-то улыбка появляется на мгновение позже, чем следовало бы, как чья-то рука дрогнула, принимая поклон. Свет был здесь ярким, но тени – не менее отчётливы.

– Привыкайте, – негромко сказала Полина, будто угадав его напряжение. – Здесь всё решается взглядом и первым словом. Остальное – следствие.

И в этот самый момент Герман увидел молодую женщину.

Она стояла у колонны, чуть в стороне от общего движения, и казалась неподвижной среди непрерывного вихря жестов, поклонов, платьев. На ней было светлое, почти воздушное платье, и в этом море бархата и атласа она выглядела неожиданно просто – но именно эта простота и притягивала взгляд. Тёмные волосы были уложены без вычурности, черты лица – ясные, открытые, и во всём облике чувствовалась не холодная светская красота, а живая, почти домашняя.

Герман задержал на ней взгляд дольше, чем позволяли приличия.

– Кто это? – спросил он негромко.

Томский усмехнулся, заметив его интерес.

– А у тебя губа не дура, – сказал он. – Это Наталья Николаевна Гончарова.

Имя прозвучало ещё не вполне привычно, но в нём уже было что-то обречённо знаменитое.

– Жена Пушкина, – добавила Полина, чуть наклонив голову.

Герман кивнул, словно это многое объясняло и одновременно не объясняло ничего. Он ещё раз взглянул на неё – и вдруг с удивлением поймал себя на том, что эта красота не тревожит его, как тревожила прежде, не зовёт и не манит, а лишь поражает – как удачно найденная строка или неожиданно точное сравнение.

– И сам Пушкин здесь?

Томский рассмеялся коротко, почти весело.

– Разумеется. Только не здесь. В кабинете за карточным столом. Хочешь на него взглянуть?

Кабинет находился в глубине дворца, и путь к нему словно уводил из мира света в мир тени. Музыка здесь звучала глуше, разговоры становились короче, а выражения лиц – сосредоточеннее. Свечи горели ниже, отражаясь не в зеркалах, а в зелёном сукне столов. За одним из них сидел Пушкин.

Он был без мундира, в тёмном фраке, с расстёгнутым воротом; курчавые волосы казались растрёпанными, лицо – живым, напряжённым, почти азартно-счастливым. Он наклонялся к столу, быстро говорил что-то, смеялся – и тут же хмурился, когда карты ложились не так, как он ожидал.

Играли в «Фараон».

Старую, опасную игру, любимую и проклинаемую одновременно. Карты шли быстро; банк держали уверенно, ставки росли и падали с той лёгкостью, с какой в бальном зале менялись партнёры в танце. Золото и ассигнации переходили из рук в руки почти неощутимо – как будто деньги здесь были лишь знаком удачи, а не её сутью.

– Он играет, как пишет, – тихо сказал кто-то за спиной Германа. – Сердцем. Потому и проигрывает чаще, чем выигрывает.

Пушкин в этот момент резко выпрямился, хлопнул ладонью по столу и рассмеялся – звонко, открыто.

– Фараон сегодня ко мне не расположен. Зато муза, надеюсь, не изменит.

Он отошёл от стола, всё ещё улыбаясь, и в этом движении было столько живости и свободы, что Герман невольно почувствовал странное уколотое чувство – не зависти, нет, а узнавания. Перед ним стоял человек, который тоже играл с судьбой – но иначе, не так, как он сам. Они вернулись в зал.

Музыка из бального зала снова стала слышна отчётливее.

Герман снова увидел Гончарову. Теперь она была в движении. Она танцевала вальс – не стремительно и не вызывающе, а так, будто музыка сама вела её, освобождая от необходимости думать о каждом шаге. Платье едва касалось паркета, линия плеч оставалась спокойной, почти строгой, и при этом в каждом повороте было что-то удивительно живое. Она не искала взглядов, не удерживала их – но они всё равно следовали за ней.

Пушкин танцевал рядом, легко, чуть небрежно, словно не придавал танцу особого значения, и именно это подчёркивало, как естественно они смотрелись вместе. Он что-то говорил ей, она отвечала улыбкой – не той, что дарят залу, а короткой, личной, предназначенной одному человеку.

Герман поймал себя на том, что впервые за вечер смотрит не на лица и жесты, а на согласованность: как шаг отвечает шагу, как между двумя людьми не остаётся пустоты. И эта простая, ясная гармония вдруг показалась ему куда более редкой и недостижимой, чем весь блеск зала. Музыка сменилась, пары разошлись, и движение растворилось — но образ остался, как впечатление, которое не нуждается в объяснении.

А Герман стоял на пороге между залами и впервые ясно понял: новая жизнь началась. И она была куда опаснее и сложнее, чем он ожидал.

Возвращались поздно. Экипаж катился ровно, колёса мягко шуршали по ночному Петербургу. Томский, утомлённый балом и разговорами, молчал, погрузившись в собственные мысли. Полина, напротив, казалась удивительно бодрой – так бывает с теми, кто привык наблюдать и подводить итоги.

– Ну что ж, – сказала она наконец, глядя на Германа, – первый бал вы выдержали.

Он чуть усмехнулся, но ничего не ответил.

– Однако, – продолжила она тем самым тоном, в котором вежливость уже не скрывает наставничества, – ошибок вы тоже наделали достаточно. Во-первых, вы слишком внимательно

смотрели. Не на дам – на всех. Это заметно. В свете это принимают за либо за нескромность, либо за расчёт. Ни то ни другое вам пока не нужно.

Она сделала паузу, давая словам осесть.

– Во-вторых, вы почти не говорили. Молчание производит впечатление глубины лишь до тех пор, пока оно не начинает казаться скрытностью. Вас должны запомнить не как «того немца, что молчал», а как человека с ясной речью и спокойными манерами.

– А в-третьих?

– В-третьих, вы смотрели на Пушкина так, будто сравнивали себя с ним. Этого не стоит делать. В свете сравнения всегда проигрышны – потому что здесь ценят не меру, а яркость.

Экипаж замедлил ход.

– Но, – добавила она мягче, – главное вы сделали верно. Вы не суетились, не старались понравиться и не искали случая выделиться. Это редкое и полезное качество. Остальному мы вас научим.

Герман посмотрел в тёмное окно, где отражались редкие фонари, и кивнул – не столько ей, сколько собственным мыслям.

Бал остался позади, но его уроки начинали действовать именно сейчас.

Глава 22. Приключения Пиковой дамы

В доме Томского снова собрались вечером.

В камине потрескивал огонь; на столике стоял чай, нетронутый, как бывает, когда беседа обещает быть важнее. Герман сидел несколько в стороне, неподвижный, словно прислушиваясь не столько к словам, сколько к собственным мыслям. Полина раскладывала пасьянс, все ждали Сурина.

Он вошёл без обычной своей насмешливости, медленно снял перчатки и, не садясь, сразу сказал:

– Я нашёл её.

Все разом подняли глаза.

– Карту, – добавил он. – Пиковую даму. Вы помните, чем кончилась та ночь у Чекалинского. Когда Герман... – он бросил быстрый взгляд на его, сидящего в тени, – когда игра была окончена и гости, бледные, растерянные, расходились, никто уже не думал о картах. Их, как водится, смели под стол – весь этот мусор страсти и азарта.

Сурин говорил спокойно, но в голосе чувствовалась усталость – как у человека, который слишком долго ходил по одному и тому же кругу.

– Уборщик, служивший в доме много лет, подметал зал под утро. Вот что он мне рассказал. Когда он стал выметать из-под стола карты, замусоленные, надломленные, с пятнами вина, с загнутыми углами, обыкновенный сор – ничего более, он уже собирался ссыпать их в совок, как вдруг заметил одну, лежавшую отдельно.

Пиковую даму.

Она была цела, не измята, словно её только что вынули из новой колоды. Чёрный рисунок выделялся на белизне картона особенно резко. Уборщик невольно вспомнил крик – резкий, чужой, будто сорвавшийся не из человеческого горла: «Старуха!»

Он видел это. Стоял у стены с подносом, слышал, как Чекалинский сказал ласково: «Дама ваша убита», – и как тот немец вздрогнул, будто его током ударило. Слуга не был игроком, но знал: так не кричат из-за денег.

– Вот она, – тихо сказал он сам себе.

Он не был суеверен, но был наблюдателен. В Петербурге всё стоило денег: слух, жест, предмет, если за ним тянулась история. А у этой карты история была, да еще какая! Он не

бросил её к остальным. К вечеру, когда дом опустел, он принёс карту к себе, аккуратно завернув в чистую тряпицу. Жена его, женщина рассудительная, нахмурилась.

– На этой карте – грех, – сказала она. – Человек сошёл с ума.

– Не с карты сошёл, а с головы. Карта тут ни при чём.

Он достал небольшую рамку – в ней прежде висела гравюра с видом Неаполя – и вставил карту под стекло. Пиковая дама смотрела прямо, без улыбки, но почему-то казалось, что взгляд её не одинаков при свете и в тени.

Жена долго молчала, потом спросила:

– И кому ты это покажешь?

– Никому. Я продам ее в Апраксином дворе.

На следующий день к уборщику приходили по очереди сначала камергер, потом Чекалинский. Оба спрашивают, не нашел ли он среди карт, брошенных под стол, Пиковую даму. Он им ответил, что все карты он подмел, как мусор и выбросил в горящий камин.

– Он рассказал мне, когда я положил на стол кредитку, что карту продал в Апраксином дворе перекупщику. Там ведь продают всё: старые письма, чужие медали, пряди волос, совесть – если она у кого осталась. Перекупщик оказался человеком с воображением. Он понял, что карта дорога своей легендой. Ее хотела купить какая-то знаменитая психиатрическая клиника для выставки предметов, из-за которых люди сошли с ума, но, он продал ее в Английский карточный клуб.

– Я бывал в этом клубе, – продолжал Сурин, – там играют в карты, ведут светские беседы. Нет ни музыкальных, ни танцевальных вечеров, но зато при клубе существует хорошая библиотека и специальная "газетная комната" – читальный зал. Девиз клуба – "Согласие и веселье". Большую часть времени посетители проводят за игорными и обеденными столами – там превосходная английская кухня. Многие известные люди – писатели и поэты, сенаторы и критики – члены клуба. Особой чести удостоен баснописец Иван Андреевич Крылов. У него там есть свой излюбленный диван – в портретной комнате, где помещены изображения в рост русских императоров.

Я сразу поехал туда, и увидел, что они повесили рамку с Пиковой дамой на стену с надписью: «Предостережение игрокам». Она висела рядом с портретами старых членов клуба. И там её увидел Пушкин. Живой, быстрый, смеющийся. Услышал ее историю, подошёл к стене. Долго смотрел. Потом сказал: «Пиковая дама – прекрасное название для повести». И эту карту выпросил. Без торга. Забрал её, как забирают не вещь, а судьбу.

– И что дальше? – спросил Томский, – значит, карту ты не принес?

– Я же сказал, карту взял Пушкин. Но нам ведь не сама карта нужна, а отпечатки пальцев. К нему может съездить Верещагин.

– К Пушкину не ездят просто так. Надо записаться на прием. Кто знает его адрес?

– Я знаю, – откликнулась Полина. – Невский проспект, дом № 12.

– Я пошлю письмо Пушкину с просьбой о встрече, надеюсь, он согласится.

– Конечно, согласится, – заверил Сурин, – и Верещагин снимет в присутствии Пушкина отпечатки пальцев с карты, а Пушкин не откажется написать справку свидетеля. Скорее всего, там будут отпечатки пальцев не только камергера, но и самого Германа, и даже уборщика, ведь он поднял карту и положил ее в рамочку под стекло. За что ему спасибо! Если бы не он, на карте появились бы отпечатки пальцев других людей, и докопаться до истины было бы намного труднее.

– Полина, пожалуйста, оставь свои карты. Возьми бумагу и ручку. Пиши.

«Санкт-Петербург, Невский проспект, дом № 12. Александру Пушкину. Милостивый государь Александр Сергеевич! Позволю себе обратиться к Вам с просьбой, которая, быть может, покажется необычной, но в которой нет ни праздного любопытства, ни намерения

стеснить Вас. Мой близкий знакомый, господин Верещагин, занимающийся розыскными делами по частным поручениям, нуждается в кратком свидании с Вами по поводу карты, известной под именем Пиковой дамы, ныне находящейся у Вас.

Цель его визита состоит в том, чтобы в Вашем присутствии снять с означенной карты отпечатки пальцев, для последующего сравнения, не нанося при этом ни малейшего вреда самой карте. Я беру на себя смелость ручаться за осторожность господина Верещагина и за полную деликатность его действий. Он не отнимет у Вас много времени и во всём подчинится Вашим условиям. Если Вы сочтете возможным принять его, прошу сообщить удобный для Вас день и время.

С совершенным почтением и искренним расположением, Ваш покорный слуга Томский.
15 мая 1832 года».

Глава 23. Дом Пушкина

Ответ Пушкина пришел на следующий день.

«Милостивый государь, князь Томский!

Письмо Ваше получил. Если господин Верещагин желает при мне снять с карты пиковой дамы отпечатки пальцев и может поручиться, что сие будет сделано без повреждения самой карты, – я не вижу причин отказывать. Предупреждаю, однако, что дозволю лишь такие действия, которые не изменят её вида и не повредят ей ни в малейшей степени.

Прошу господина Верещагина явиться ко мне 18 мая в час пополудни. Времени более назначенного уделить не смогу. Остаюсь с искренним уважением. А. Пушкин»

После женитьбы Пушкин поселился на Невском проспекте – центральной, оживлённой улице Петербурга, с широкими тротуарами, красивыми фасадами каменных домов, магазинами, кофейнями и кондитерскими.

Дом № 12, где он жил представлял собой типичный для той эпохи городской особняк: двухэтажный каменный фасад с высокими окнами, парадной лестницей, ведущей в квартиры на втором этаже, и служебными помещениями для прислуги на первом.

Квартира была скромной по размеру, но светлой. Гостиная с большими окнами выходила на Невский, а комнаты были обставлены мебелью в стиле ампир – диваны с изящными резными ножками, письменный стол, книжные шкафы, пианино. В гостиной Пушкин принимал знакомых литераторов, устраивал чтения своих новых стихов.

Рядом на Невском кипела жизнь: кареты, прохожие, уличные музыканты, лавки с тканями и изделиями ручной работы. Через несколько домов находились знаменитые магазины и кофейни, куда Пушкин часто заглядывал, чтобы встретиться с друзьями или почитать свежие газеты.

В указанный день и час Верещагин остановился у порога.

Комната была освещена неярко: весенний день стоял серый, но Пушкин не зажигал свечей, довольствуясь холодным светом из окна. На письменном столе лежали тетради, исписанные быстрым, неровным почерком, и между ними, под тонким стеклом карта – Дама пик. Он привык иметь дело с предметами, которые служили уликами: письмами, перстнями, платками. Но эта карта не принадлежала к их числу – по крайней мере, до сих пор.

– Вот она, – сказал Пушкин. – Та самая. Я не прикасался к ней.

Из другой комнаты показалась Наталья Николаевна, жена Пушкина. Она была в лёгком домашнем платье из тонкого тёмно-синего шёлка с мягкой кружевной оборкой на воротнике, волосы собраны в простую, но аккуратную причёску.

– Кто это? – спросила она, слегка приподняв бровь.

– Натали, – сказал Пушкин тихо, – это ко мне по делу. Тебе это неинтересно.

– Заказать чай или кофе?

– Чай, будет кстати.

Она чуть поклонилась, задержав взгляд на осторожных движениях Верещагина, и ушла — Моя супруга обожает гостей, — объяснил Пушкин, а Верещагин поставил на стол небольшой кожаный футляр и раскрыл его.

Внутри лежали листы тонкой бумаги, коробочка с черным порошком, мягкая кисточка. Он надел перчатки и действовал медленно, без суеты, словно знал: спешка здесь равна утрате. Открыл рамку, снял стекло. Затем, задержав дыхание, посыпал поверхность карты едва заметным слоем черного порошка — так легко, будто на неё осел пепел давно погасшего огня.

– Забавно, — тихо сказал Пушкин. — Карта прожила столько рук, а вы надеетесь, что она вспомнит одну.

– Она не вспоминает, — ответил Верещагин. — Она показывает.

Он сдул с карты лишний порошок, приложил к ней лист липкой бумаги, пригладил его кончиками пальцев, почти не надавливая. В комнате стояла тишина, в которой слышно было, как за окном проехала карета.

Когда он снял бумагу, на ней проступили линии — слабые, но различимые. Чужие руки оставили следы, не ведая, что это когда-нибудь станет доказательством.

Пушкин наклонился, не прикасаясь, лишь всматриваясь.

– Я всё время думал, — что тайна здесь в числе. В тройке, семёрке, тузе.

Он усмехнулся.

– А выходит — в отпечатках пальцев.

Верещагин аккуратно убрал оттиски в папку.

– Сударь, мне потребуется свидетельство, — сказал он, — о том, что оттиски были сняты при вас.

Пушкин кивнул без колебаний.

Он взял чистый лист и написал быстро, без черновика, тем же почерком, каким только что рождались стихи:

«Свидетельствую сим, что карта, известная под именем пиковой дамы, находилась у меня и что в моём присутствии с неё были сняты отпечатки пальцев господином Верещагиным, без повреждения самой карты. С.-Петербург. 18 мая 1832 года».

Он поставил подпись — чётко, разборчиво, без росчерков.

– Странно, — сказал Пушкин, глядя на свою подпись. — Обычно я подписываюсь под вымыслом.

Он помолчал и добавил:

– А теперь — под фактом.

Верещагин поблагодарил, вложил карту под стекло и повесил рамку на место, сделав предварительно несколько фотоснимков.

Появилась Наталья Николаевна с подносом, на котором стояли чайник, чашки и печенье.

– Вот, пожалуйста, — сказала она, слегка улыбаясь, — чай горячий.

Пушкин кивнул, усаживаясь рядом с Верещагиным. Он налила чай в чашки, аккуратно поставила их перед ними и снова отошла в тень, наблюдая за разговорами мужа.

– Господин Верещагин, — начал Пушкин, осторожно поднимая чашку к губам, — признаюсь, что никогда прежде не имел возможности беседовать с человеком вашей профессии так близко. Я всегда читал о сыщиках и их приключениях, но это кажется чем-то почти невероятным. Скажите, каковы ваши методы?

Верещагин усмехнулся, слегка опершись на спинку кресла:

– Простейшие на первый взгляд приёмы часто оказываются самыми действенными. Например, наблюдение. Человеческая натура выдаёт себя в мельчайших жестах. Но есть и

новейшие способы – назад никто и не думал, что пальцы могут оставлять следы, что у всех людей они – разные, и что их можно использовать для установления истины.

Пушкин слушал, глаза блестели.

– Удивительно, – сказал он. – То есть вы фактически способны доказать факт, который иначе остался бы тайной?

– Именно, – кивнул Верещагин. – А тайны, господин Пушкин, часто скрываются в мелочах. Пачка бумаги, след на полу, царапина на двери – все они могут рассказать историю. Иногда я возвращаюсь к закрытому делу, и вся картина вдруг становится ясной по-другому.

– И вы постоянно наблюдаете, анализируете, сопоставляете? Это требует терпения, внимательности... А есть ли случаи, что особенно поразили вас своей хитростью или дерзостью?

Верещагин задумался, улыбка мелькнула на его лице.

– Бывают случаи, которые поражают даже опытного сыщика, – у меня были такие, но их раскрывать я не имею права.

– Как это впечатляюще, вы видите мир иначе. Не только глазами, но и умом, рассудком, вниманием к деталям... Да, господин Верещагин, ваши наблюдения и методы – настоящее сокровище для литератора. Можно многому научиться. И кто знает, какие сюжеты ждут своего часа. Я рад, что с вами познакомился. Надеюсь эта встреча не последняя.

Когда Верещагин ушёл, Пушкин вернулся к столу, взял перо и, глядя на пиковую даму, начал быстро писать. Рука его двигалась уверенно, словно всё главное было решено ещё до того, как сажа коснулась бумаги.

Глава 24. Нужен третий

Мы снова в квартире Томского, где собрались Герман, Сурин и Нарумов. Опять жена Томского Полина принесла чай и сдобные булочки.

– Моя квартира скоро станет штабом полка, – пошутил Томский, – осталось только положить на стол карту военных действий.

– И эта карта скоро будет здесь, – поддержал шутку Нарумов.

Все ждали Верещагина, и каждый понимал, что сегодня должно произойти что-то необычное.

Верещагин быстро разделся и достал из сумки свои принадлежности. Его движения были уверенными и спокойными, а в глазах – деловая сосредоточенность.

– Вчера я был у Александра Сергеевича Пушкина. Не как литератор к литератору, а по делу. Он показал мне карту – ту самую Пиковую даму, которая после известной игры оказалась у него в рамочке под стеклом. Вот это – сделанная мной фотография карты Пиковая дама, а это – снятые с нее отпечатки пальцев.

– Пушкин, – продолжал Верещагин, – рассказал мне, что карта Пиковая дама с самого начала казалась ему не просто предметом, а свидетелем. Он не позволял никому прикасаться к ней без надобности и поэтому велел повесить ее на стенку, почти как гравюру. Она служит для него источником вдохновения и новая повесть «Пиковая дама» скоро станет очередным шедевром его творчества.

Верещагин сделал короткую паузу.

– Я попросил разрешения осмотреть её. Осторожно снял рамку и увидел то, чего обычно не замечают: на поверхности карты, особенно по краям, сохранились следы пальцев. Не один след – несколько. Я снял эти отпечатки там же, при нём. Не касаясь самой карты больше, чем это было необходимо. Затем вернул её на место и попросил Пушкина написать справку свидетеля. Вот она.

Кто-то за столом тихо выдохнул.

– Уже тогда, – продолжил Верещагин, – мне стало ясно: карту держали в руках, по меньшей мере, три человека. Один – резко, судорожно, словно в порыве. Другой – осторожно, но уверенно. Третий – привычно, как берут вещь при уборке.

Он перевёл взгляд на Германа, затем – на Томского.

– С этого и началось моё расследование. Не с догадок, не со слухов и не с мистики.

А с простой вещи: карта не молчит. Она всё запомнила.

В комнате снова повисла тишина, и теперь уже каждый понимал: рассказ Верещагина – не вступление, а фундамент того, что последует дальше.

– Мне нужны отпечатки двух человек, – сказал он негромко. – Германа и того, кто убирал комнату после игры.

Герман поднял голову.

– Мои? – переспросил он, – пожалуйста.

В его голосе не было ни колебания, ни страха – скорее усталое равнодушие человека, которому уже нечего терять. Он подошёл к столу, и, не дожидаясь дальнейших объяснений, протянул руку.

Верещагин аккуратно взял его пальцы поочерёдно, слегка касаясь подушечек чернильной подушкой, затем прижал их к бумаге. Герман смотрел в сторону, будто это касалось не его.

– Это все?

– Все. А что будем делать с уборщиком?

– Его посвящать не стоит, – тихо сказал Томский. – Он человек простой, перепугается, начнёт болтать. В подсобке стоят его вещи для уборки. Там, конечно, есть отпечатки пальцев.

Томский с Верещагиным прошли в узкий коридор, и остановились у низкой двери каморки, где хранились вещи для уборки. Томский отпер её. Внутри пахло пылью, мылом и влажным деревом. Вдоль стены стоял ведро с остатками воды, деревянная швабра с потёртой ручкой, жестяная лейка, щётка для сукна, подсвечник с наплывами воска, и небольшой медный колокольчик, которым слуга отзывался на зов.

Верещагин осмотрел всё с вниманием человека, привыкшего читать следы.

– Швабра годится, – сказал он, указывая на ручку – Он держит её каждый день.

Он достал порошок, бумагу и осторожно снял отпечатки с потертого дерева.

– Этого достаточно, уборщик оставил здесь больше следов, чем подозревает.

Томский невольно усмехнулся:

– Значит, выступит свидетелем, сам не зная того.

– Всегда так, – ответил Верещагин. – Люди оставляют правду на самых обыденных вещах.

Он аккуратно сложил бумаги.

– Теперь у нас есть два отпечатка. Сейчас я сравню их с теми, что снял в доме Пушкина. Осталось только сопоставить – и задать правильный вопрос нужному человеку.

Они и вернулись в гостиную, где Верещагин достал увеличительное стекло и попросил прибавить свет.

– Два отпечатка сходятся. Действительно, это та самая карта, что была тогда в игре. Нужен третий. Теперь пригласите сюда камергера. Его отпечатки пальцев и закончат расследование.

Полина слегка приподняла бровь:

– А как пригласить его, чтобы не спугнуть?

– Под предлогом обсуждения той карточной игры, – предложил Сурин, – я к нему подъеду.

– А если он не пойдёт?

– Если он откажется, то я скажу: не отказывайтесь, это может быть понято, как если вы не хотите, чтобы была установлена истина. Ведь вам нечего скрывать? После этих слов он пойдет.

– А свои отпечатки пальцев он произвольно оставит на стакане портвейна, который я ему налью, – предложила Полина.

– Полина, хотите работать в уголовном розыске? – осведомился Верещагин, – лишние деньги вам не помешают. У нас работают женщины.

– Если муж разрешит.

– Только через мой труп, – пошутил Томский.

– Тогда ограничусь должностью жены. Господа, отчего вы не пьете чай? – закончила она под общий смех.

Глава 25. Третий

Когда вошёл камергер, все уже сидели за столом. Вино было разлито заранее: перед каждым стоял наполненный стакан, и один, рядом со свободным стулом, был поставлен для него. Сцена выглядела почти дружеской, даже примирительной, и в этом было что-то нарочито спокойное.

Камергер поклонился, сел, взял стакан, сделал глоток – слишком поспешно – и поставил стакан обратно. Видно было, что он нервничает.

Томский поднялся.

– Друзья, – начал он ровным голосом, – мы сегодня собрались не для суда и не для обвинений. Мы хотим вспомнить ту злополучную игру и понять, как могло случиться, что Пиковая дама стала причиной болезни нашего дорогого друга Германа.

Он повернулся к камергеру.

– Господин камергер, вы ведь сидели рядом с ним. Что вы помните о той игре?

– Ничего особенного. После двух крупных выигрышей появление Германа в клубе Чекалинского в третий раз вызвало большой ажиотаж. Признаюсь, и мне было любопытно, чем это все кончится. А кончилось скверно. Герман ошибся и вынул из своей колоды не туза, как он думал, а Пиковую даму. И все проиграл.

– Вы тогда сидели рядом с Германом. Кажется, вы тогда уронили носовой платок?

Камергер вздрогнул, но тут же кивнул, будто обрадовавшись возможности говорить о пустяке.

– Да, да... носовой платок. Совершенно верно. – Он нервно усмехнулся. – Видите ли, я в тот вечер нюхал табак... купил его накануне у Шарля Бове, на Невском. Не ожидал, что он окажется таким крепким. После первой же понюшки я так чихнул, что руки у меня затряслись... и носовой платок выпал.

– И куда он упал?

Камергер пожал плечами.

– Куда именно он упал – право, не помню.

– А я вам напомним. Ваш носовой платок упал прямо на карту Германа.

– Какое это имеет значение?

Пока он говорил, было заметно, что он волнуется. То и дело прикладывается к своему стакану.

– Налейте, пожалуйста, ещё, – сказал он, протягивая пустой стакан.

Стакан был передан Верещагину, и он принялся за дело. Осторожно взял стакан за донышко, чтобы не стереть следы, и начал аккуратно снимать отпечатки с гладкого стекла – там, где только что лежали пальцы камергера.

В комнате стало так тихо, что было слышно, как где-то в глубине дома тикают часы.

Камергер побледнел.

– Это... это что за шутки? – выдавил он. – Кто вы такой? Что вы делаете?

– Разрешите представиться. Инспектор Главного полицейского управления Петербурга, Верещагин. Снимаю отпечатки ваших пальцев. Это не шутки. Это память ваших рук. Вы сказали, что не помните, куда упал платок. Но ваши пальцы помнят гораздо больше, чем вы думаете

Он открыл папку и положил на стол фотографию карты Пиковой дамы, в рамке под стеклом.

– Узнаёте? – спросил он, глядя на камергера.

– Не понимаю, о чём вы...

– Это Пиковая дама. Та самая. Которую вы подложили Герману вместо туза.

Камергера передёрнуло.

– Что за вздор!

– Вы ведь приходили на следующий день и спрашивали у уборщика про эту карту. И он сказал, что ее сжег. Он вас обманул. Карту он поместил в рамку и продал, а мы ее разыскали. Вот отпечаток пальца, снятый с карты, а вот отпечаток пальцев с вашего бокала. Свежий. Снятый при вас. Без всякой подмены.

Он взял лупу и посмотрел прямо на камергера.

– Посмотрите, как они совпадают. Линии, завитки, развилка.

Верещагин положил рядом оба изображения.

– Совпадают не два и не три признака. Их больше десятка. И все – в одном порядке. Это не сходство. Это тождество. Карта Пиковая дама была у вас в руках.

– У меня в руках? Ах да, теперь я припоминаю, когда Герман закричал «Старуха» и уронил карту на стол, я ее взял посмотреть и бросил на пол.

– А здесь память вам изменяет, – вступил в разговор Сурин, – Герман не уронил карту на стол, он швырнул ее на пол и больше никто до нее не дотронулся, она всем внушила суеверный страх!

– Вы... вы не можете этого доказать! — вырвалось у камергера.

В комнате стало тихо. Камергер смотрел на карту так, будто она могла заговорить.

– Итак, – сказал Верещагин, убирая лупу, – либо мы продолжаем сравнение письменно, с заключением и свидетелями, либо вы во всем признаетесь. Продолжайте, господин камергер, вы как раз дошли до самого интересного места.

– Вы надо мной смеетесь! Никто в эту мазню не поверит.

Верещагин убрал лупу.

– Вы правы, – сказал он неожиданно мягко. – Пока это ещё не наука. И суду я этого не понесу. Зато понесу в газеты.

Он постучал пальцем по папке.

– Понесу статью. Подробную. С фотографией Пиковой дамы. С описанием того, как туз превращается в даму. И как отпечатки пальцев позволяют выявить мошенника. Имя которого – Иван Матвеевич Трубецкой. Должность – камергер. Газеты расхватают, Петербург любит такие чтения.

– Вы... вы не посмеете...

– Уже посмел, – спокойно ответил Верещагин. – Черновик статьи готов. Хотите посмотреть?

Он наклонился вперед:

– И тогда всему Петербургу станет известно, что многоуважаемый камергер – карточный жулик. А от карточного вора до служебного расследования – один шаг. А дальше – суд чести. Обвинение в шулерстве, это для вас – профессиональная смерть. Исключение из приличных

домов, отказ от карточных столов, прекращение светских приглашений, невозможность дальнейшей придворной службы.

Камергера побледнел.

– Что вы от меня хотите?

– Признайтесь в подмене карты и верните Герману проигранные деньги.

– Эти деньги выиграл не я! – почти выкрикнул камергер. – И такой суммы у меня нет.

Наступила тишина.

Потом камергер заговорил уже другим голосом – деловым, сухим.

– Хорошо, я верну ему проигрыш, но другим путем. Предлагаю сделку. Я дам под присягой показания, что Герман действительно сын и законный наследник графини Нарышкиной. И приведу доказательства. И передам Герману бумаги на управление ее имением. Этого достаточно, чтобы он получал значительный доход. А вы при мне бросите все ваши отпечатки в огонь. И забудете, что вообще держали в руках эту карту.

– Господин Трубецкой, здесь решения принимаю не я, меня пригласили, как эксперта.

– Решение за Германом, – подтвердил Томский. – Герман, ваше слово?

– Я знаю, что произошло в ту ночь за карточным столом, – сказал Герман, – этого мне достаточно. Вашего позора, – он повернулся к камергеру, – вашего позора я требовать не стану. Но и оправдывать вас не буду. Живите с этим сами. Но, это не сделка. Просто расскажите всё, что вы знаете обо мне.

Глава 26. Признание камергера

Камергер начал говорить не сразу. Сначала сидел, сложив руки, словно на исповеди, и смотрел не на Германа, а куда-то вглубь стола, где уже не было ни карты, ни фотографий.

– Это было не по моей воле, – наконец, сказал он. – Я служил ей двадцать пять лет. И знал: у графини Нарышкиной нет привычки объясняться. Ребёнок родился 16 февраля 1807 года, тайно. Ночью. В доме на Фонтанке. Она велела мне всё устроить – чисто, без слухов.

Он поднял глаза.

– Я сам отвёз младенца, это был сын, в церковь святого Пантелеймона. Не в приходскую, а туда, где записи ведут аккуратно, но без лишнего любопытства. Священник протоиерей Иоанн был стар, глуховат и благодарен за щедрое пожертвование. Его уже нет в живых. Запись вы найдете в церковной книге. Мальчик был записан как Герман, без фамилии матери. Крестным значился я и повитуха Аграфена Иванова. Она жива. Это легко проверить.

Он на мгновение замолчал, затем продолжил тише:

– После крещения графиня передала мне крестик. Маленький. Золотой. Не новый. С простым распятием – но на обороте была необычная насечка: крошечная звезда с вытянутым лучом, словно царапина, а не гравировка. Ювелир сказал бы – брак. Она сказала – «знак». Сказала: «Пусть будет при нём. Остальное – лишнее».

Когда камергер дошёл до крестика, Герман вынул из кармана письмо матери. Из него – тот самый крестик. Маленький. Потёртый. На обороте царапина с вытянутым лучом.

Камергер побледнел.

– Это он.

Герман долго смотрел на крестик, потом медленно закрыл ладонь.

– Значит, у меня было имя ещё до того, как я его узнал.

– После этого, – продолжил камергер, – графиня велела мне отнести ребенка к порогу дома немца, ее эконома. Он был бездетный, и его жена давно мечтала о ребенке.

Спящего ребенка поместили в корзину, укутав теплым одеялом. На дно корзины положили детские вещи, свидетельство о крещении и кошелек с крупной суммой денег. Я поставил корзину на пороге и постучал. Раз, потом другой. Услышал шаги и спрятался. Эконом

вышел с лампой в руке. Он увидел корзину и сначала не понял, что это. Потом лампа дрогнула, и он сказал: Mein Gott! Огляделся по сторонам и занес корзину в дом.

Весной он подал заявление об отставке и с женой и усыновленным ребенком уехал в Германию, а экономом стал я. Мне удалось узнать, где он поселился и по поручению графини каждый год в день рождения Германа я посылал вексель с подарочной суммой.

При этих словах Герман вынул из кармана вексель.

– Вот этот?

– Да, это последний вексель, почерк мой вы легко сравните. Теперь мы подходим к концу. После смерти графини было объявлено ее завещание. Мне была выделенная крупная сумма, которой мне может хватить на всю жизнь, но с условием, я ее получу после того, как разыщу Германа, сына графини и передам ему права на ее имущество. А до этого, меня назначала попечителем имения.

– Когда я увидел в клубе Чекалинского молодого человека по имени Герман, сразу вспомнил про сына графини. Случайное совпадение имен? Я поговорил с вами, Герман, возраст тоже сходил. Второе совпадение: вы – немец, третье совпадение, ведь вас увезли и вырастили в Германии. Три случайных совпадения? После этого я решил посоветоваться со священником, что вас крестил. Он сказал, что все возможно, но торопиться не стоит. И я решил подождать, узнать более подробно кто вы. И вот, узнал.

Я готов подписать свое заявление при свидетелях. Сейчас напишу. Дайте лист бумаги и перо.

Письменное свидетельство

Я, нижеподписавшийся, Иван Матвеевич Трубецкой, состоявший в должности камергера, настоящим свидетельствую и объявляю, что Герман Фридрих Крамер есть действительно сын графини Анны Фёдоровны Нарышкиной. Ребёнок означенной графини родился в Санкт-Петербурге шестнадцатого февраля тысяча восемьсот седьмого года. Роды принимала повивальная бабка Аграфена Ивановна Скобина, проживающая в Санкт-Петербурге.

Младенец был крещён именем Герман в церкви святого великомученика и целителя Пантелеймона, таинство крещения совершил протоиерей Иоанн, о чём имеется надлежащая запись в метрической книге церкви.

По прямому поручению графини Анны Фёдоровны я, Иван Матвеевич Трубецкой, отнёс младенца в корзину вместе со свидетельством о крещении, золотым нательным крестиком и кошельком с денежной суммой к порогу дома, в котором проживал с супругой бездетный немец-эконом Фридрих Карлович Крамер.

Означенные супруги младенца приняли и впоследствии выехали с ним за границу, в Германию. Далее, также по поручению графини, я разузнал место их пребывания и ежегодно, анонимно, ко дню рождения сына графини, направлял туда векселя, подписанные графиней Анной Фёдоровной, в виде подарка и содержания. Сие письменное свидетельство готов подтвердить под присягой, в случае законного требования.

Иван Матвеевич Трубецкой
16 июня 1832 года Подпись

Подпись И. М. Трубецкого подтверждаем:

Штабс-капитан Конной гвардии А. П. Нарумов. 16 июня 1832 года Подпись.

Майор в отставке Н. А. Сурин. 16 июня 1832 года Подпись.

– Но есть ещё одно, о чём я обязан сказать. Не для печати. Это о том, почему я подменил карту.

Он поднял взгляд на Германа – впервые без холодной уверенности.

– Я тоже родственник графини. Дальний. И всю жизнь я служил при ней с одной тайной мыслью: быть замеченным, быть награждённым, быть включённым. Когда вы начали

выигрывать, когда удача словно шла за вами как тень, во мне проснулась зависть. Не к деньгам даже – к судьбе. Вы входили в её круг быстро, слишком быстро. А я – десятилетиями оставался при дверях.

– В тот вечер я уже знал, что вы поставите всё. И я знал, что если вы выиграете, вопрос о наследстве станет делом времени. Тогда я решился. Подмена заняла секунды. Карта была у меня в ладони ещё до того, как вы её перевернули. Я рассчитывал лишь на ваш проигрыш. На скандал. На удар по репутации. Я хотел, чтобы вы исчезли из её жизни – как игрок, как человек. Я не рассчитывал на безумие.

Он тяжело выдохнул.

– Когда вас увезли в больницу, я понял, что переступил не границу закона – хуже. Я разрушил чужой рассудок. И всё это из-за жалкой надежды самому оказаться ближе к наследству.

Он опустил голову.

– Я ждал, что вы выйдете и потребуете реванша. Я готовился к новому обману, к защите, к интригам. Но вы не требовали ничего. Вы не помнили даже, за что вас сломали. И тогда мне стало по-настоящему страшно.

Он поднял глаза – уже влажные.

– Поэтому сейчас я говорю всё. Я не хочу больше носить на себе ваш рассудок, как улику.

Он глубоко поклонился.

– Я прошу у вас прощения, Герман. Не как у наследника, не как у победителя. Как у человека, которого я хотел стереть – и почти стер. И прошу позволения уйти. Остальное – пусть решает время.

Когда дверь закрылась, Герман повернулся к Верещагину:

– Вы верили ему?

Верещагин ответил не сразу.

– Я верю страху. А страх, Герман, редко врёт – он слишком дорожит собой.

Герман снова посмотрел на крестик.

– Значит, игра окончена?

– Нет, – сказал Верещагин. –

Просто теперь вы играете под своим именем.

Глава 27. Суд

Зал городского Петербургского городского суда был окутан полумраком. Высокие окна с тяжёлыми деревянными рамами пропускали редкие полосы солнца, и каждый луч падал на пыльные паркетные доски. Тяжёлые балки создавали ощущение давящего свода над головами присутствующих. В воздухе висла смесь свечного дыма, терпкого запаха пергамента и напряжённого ожидания.

Сегодня решалась судьба Германа, судьба которого оказалась сплетена с тайной, которой более двадцати лет.

На возвышении за длинным столом сидела коллегия из трёх судей. Их лица были суровы, глаза блестели за очками, книги и пергаменты лежали аккуратно перед ними, словно готовые напомнить о безжалостной власти закона. Перед ними стоял Герман, плечи напряжены, глаза полны тревоги. Рядом с ним – Томский, его защитник, сжимающий в руках свитки документов, как щит. В ряды зрителей, заполнившие галерею, проникали шёпоты дворян, заинтересованных в том, чем закончится это дело о наследстве богатой, теперь уже покойной графини.

Председатель глухо ударил молотком по столу. Его голос разнёсся по залу:

– Городской суд Санкт-Петербурга открывает рассмотрение гражданского иска по делу Германа о признании его сыном покойной графини Анны Федоровны Нарышкиной. Прошу истца и защитника представить доказательства.

Герман сделал глубокий вдох, чувствуя, как руки слегка дрожат, и кивнул Томскому. Тот, поправив сюртук, шагнул вперед.

– Господа судьи, мы представляем доказательства, свидетельствующие о происхождении истца и его праве быть признанным сыном покойной графини. Во-первых, вот оригинал предсмертного письма приемной матери Германа. В нём она прямо признаёт, что ребёнок, о котором идёт речь, не является её биологическим сыном. Это – свидетельство её сознательного отношения к судьбе ребёнка.

Он передал письмо секретарю. Судьи наклонились, внимательно изучая текст. Один из них, старый и строгий, с сомнением спросил:

– Интересно... Однако письмо написано приемной матерью, а не графиней. Что это доказывает относительно статуса сына покойной?

Томский не дрогнул:

– Письмо лишь подтверждает факт рождения и судьбы ребёнка. Но к письму прилагается золотой крестик, который был на ребёнке, когда его подкинули в немецкую семью. Нам удалось найти запись о регистрации и крещении истца. Вот копия. Этот крестик принадлежал семье графини и передавался только лицам её доверия. Таким образом, мы имеем материальное свидетельство связи ребёнка с её окружением.

Секретарь тихо записывал протокол, а один из судей, хмуро прищурившись, пробормотал:

– Крестик можно придать символическое значение, но разве он подтверждает именно родство?

Томский чуть повысил голос, чувствуя, как напряжение в зале растёт:

– Крестик имеет юридическую и социальную ценность! Он не просто украшение. Его дарили тем, кто находился под защитой семьи, и этот крестик находился на ребёнке с момента рождения.

Следующим доказательством Томский вынул вексель, ежегодно присылавшийся в Германию ко дню рождения Германа.

– Вот вексель, присланный из Петербурга. Он демонстрирует, что настоящая мать проявляла заботу и внимание к сыну.

Судьи переглянулись. Молодой судья, стиснув губы, тихо сказал:

– Это уже больше похоже на последовательность фактов, а не на прямое доказательство.

Томский поднял руку, словно отгоняя сомнения:

– И, наконец, господа, свидетельские показания. Лиза нашла в архиве графини письмо к отцу Германа, Сен-Жермену. Письмо отправлено, и почтовые служащие могут подтвердить факт его отправки.

Старший судья нахмурился:

– Письмо не сохранилось. Почтовая отметка – косвенный факт. Что вы предлагаете, господин Томский, считать достаточным доказательством?

– Письменное свидетельство камергера, который по поручению графини отнес ребенка в церковь для крещения, а потом положил на пороге дома бездетного немца, служившего у графини экономом.

Он положил перед судьей свидетельство камергера.

– Господа судьи! – Томский сделал паузу, оглядывая зал. – Может быть, каждое доказательство в отдельности недостаточно, но взятые все вместе – письмо приемной матери, крестик, вексель, подтверждение почтовой отправки, и, наконец, свидетельство камергера, –

создают непрерывную цепь обстоятельств. Это даёт полное основание считать, что Герман состоял в непосредственной семейной опеке графини и получил её признание в качестве сына и наследника.

Зал на миг затих. Герман сжал кулаки, чувствуя, как в груди растёт надежда. Дворяне переглядывались, шепоты стихли. Судьи ушли на совещание, и зал наполнилась тихим, напряжённым ожиданием.

Время тянулось медленно. Наконец, судьи вернулись в зал. Председатель поднял взгляд, и его голос прозвучал как приговор, и как благословение одновременно.

– Городской суд Санкт-Петербурга двумя голосами «за» и одним воздержавшимся, признаёт, что представленные доказательства – письмо матери, золотой крестик, вексель, почтовое подтверждение отправки письма и свидетельство камергера – в совокупности достаточны для признания истца Германа сыном покойной графини Анны Федоровны Нарышкиной и наследником её имущества.

Председатель поднял молоток:

– Иск удовлетворить!

В зале раздались тихие вздохи облегчения. Дворяне переглядывались, некоторые удивлённо кивали. Герман опустил плечи, ощущая, как груз долгого ожидания спадает с его плеч. Томский сдержанно улыбнулся, а Лиза сжала руки, едва дыша, словно боясь, что счастье ещё может ускользнуть.

Председатель добавил строго:

– Суд предупреждает, что решение основано на представленных доказательствах и может быть обжаловано другими наследниками, если таковые появятся. Но в рамках представленных материалов – истец – Герман Фридрихович Крамер признан сыном и наследником графини.

Герман впервые в жизни почувствовал настоящую свободу.

Тени заливались мягким светом свечей, а за окнами Петербурга медленно плыли облака, словно само небо приветствовало его новую судьбу и облака спешили разнести эту новость по всему свету.

Глава 28. Герман делает предложение

Они вышли вместе. Был поздний вечер; фонари уже зажглись, и снег под ногами тихо поскрипывал, как будто город нарочно говорил шёпотом, чтобы не мешать их разговору.

Лиза собиралась ехать. Кучер уже ждал у подъезда.

– Благодарю вас за сегодняшний вечер, – сказала она с привычной сдержанностью. – Я рада, что всё прояснилось.

Она имела в виду документы, показания, подписи – всё то, что, наконец не оставляло сомнений: Герман был сыном графини, крещённым в православной церкви. То, что прежде казалось невозможным, теперь стало фактом.

– Да, – ответил он. – Прояснилось многое.

– Я удивилась, что камергер добровольно признал вас наследником.

– Он сделал это не добровольно. Он сопротивлялся. Просто ему пригрозили, что вскрылось доказательство, что он во время той злополучной игры подменил моего туза на пиковую даму, после чего для него, как карточного мошенника, закроются двери всех приличных домов.

– Значит вы теперь наследник графини. Вы не выгоните меня из ее дома? В своем завещании она разрешила мне жить в ее доме, сколько захочу. Впрочем, я могу вернуться к отцу, как только закончу работать с ее архивом. Да, я что вы сделаете с камергером, он ведь передаст вам правление имением?

– И получит хорошее содержание.

– Вы не хотите ему отомстить за ваш проигрыш?

– Нет. Пусть убирается ко всем чертям.

Герман помог ей надеть плащ. Его движения были спокойны, почти медлительны, но Лиза заметила: он не спешит. Словно боится, что, если она сядет в экипаж, что-то останется несказанным — и уже никогда не будет сказано.

– Лиза, – произнёс он, когда она уже сделала шаг к ступеньке. – Позвольте мне задержать вас... ещё на минуту.

Она остановилась.

– Вы хотите что-то добавить?

Он кивнул.

– Да. Но это нельзя сказать на ходу.

Он сделал шаг назад – и вдруг опустился на одно колено прямо на холодный камень мостовой.

Лиза вздрогнула.

– Герман! – воскликнула она почти шёпотом. – Что вы делаете? Встаньте сейчас же!

Прохожих поблизости не было, но сам жест был слишком неожиданным, слишком решительным, чтобы остаться просто красивой формой.

– Нет, – сказал он спокойно. – Я встану только после того, как скажу всё.

Он поднял на неё глаза. В них не было ни горячки, ни прежнего фанатического блеска – только ясность человека, который слишком дорого заплатил за право говорить прямо.

– Я прошу вас стать моей женой.

Она побледнела.

– Вы... – она запнулась. – Вы понимаете, что говорите?

– Понимаю, – ответил он. – И именно потому говорю это сейчас, а не тогда, когда вы были беззащитны, и не тогда, когда я был безумен, и не тогда, когда между нами стояла тайна. Она молчала.

– Вы знаете, – продолжил он, – что тень графини явилась мне. И вы знаете, что она сказала.

– Знаю, – тихо ответила Лиза. – И именно это меня пугает.

Он кивнул.

– Меня тоже. Потому что я должен был понять: если вы согласитесь – вы вправе спросить, не исполняю ли я чужую волю.

Он сделал паузу.

– Потому я скажу вам то, что не связано ни с тенью, ни с прощением, ни с моим происхождением.

– Я полюбил вас не тогда, когда вы помогли мне в больнице. И не тогда, когда открыли мне дверь. И не тогда, когда пришли ко мне первой с вестью о моём рождении.

Лиза смотрела на него, не отрываясь.

– Я полюбил вас тогда, когда понял, что вы вправе презирать меня – и всё же не сделали этого. Когда вы могли отомстить мне – и не захотели. Когда вы ушли от меня, не требуя ни объяснений, ни клятв, ни раскаяния.

Он слегка понизил голос.

– В тот миг я впервые увидел в вас не средство, не спасение и не жертву – а человека, без которого мне стало невозможно мыслить будущее.

Она медленно покачала головой.

– Но как мне знать, – сказала она, – что это любовь, а не раскаяние? Что вы не ищете во мне искупления?

Он ответил сразу:

– Потому что искупление требует благодарности. А я прошу не благодарности – а доверия. И я знаю, что могу его не получить.

Он протянул ей руку. В ней лежало кольцо – простое, почти строгое.

– Если вы скажете «нет», – я приму это. Если вы скажете «подождите», – я буду ждать. Но если вы скажете «да», я хочу, чтобы это было не ради моего спасения и не ради прошлого – а ради того, что может быть между нами.

Лиза долго молчала. Потом медленно опустила руку – но не взяла кольцо.

– Я не отвечу вам сегодня, Герман.

Он кивнул.

– Но я скажу вам вот что, – добавила она, глядя ему прямо в глаза. – Если вы любите меня, позвольте мне убедиться в этом не словами и не жестами – а временем.

Он склонил голову.

– Я приму любое испытание, кроме одного.

– Какого?

– Кроме жизни без вас.

Она на мгновение закрыла глаза.

– Встаньте, – сказала она тихо.

Он поднялся.

– Что я должен сделать, чтобы вы мне поверили?

Она села в экипаж, но прежде чем кучер тронул лошадей, наклонилась к нему, засмеялась:

– Сами знаете!

И Герман остался стоять у подъезда, с кольцом в руке, впервые поняв, что любовь – это не мгновение, а путь, на который ему еще предстоит пройти.

Глава 29. Совет Полины

Герман не пошёл домой. Он пошёл к Томскому.

Полина выслушала его почти без удивления. Она давно привыкла к тому, что в их доме появляются люди, нуждающиеся в совете. Значит, дело серьёзное.

– Я сделал ей предложение, – признался Герман. – Она не отказала. Но и не согласилась.

Она сказала: «Вы знаете, что должны сделать, чтобы я вам поверила».

– И вы не знаете? – спросила Полина, внимательно глядя на него.

Он покачал головой.

– Не знаю.

– Тогда вы действительно изменились.

– Полина, помогите мне.

Она встала, прошла по комнате, потом остановилась у окна.

– Скажите мне, как вы добивались её вначале?

– Я стоял под её окном, я писал ей письма. Ждал, пока она не пригласит меня в дом.

– Прекрасно, – сказала Полина. – Сделайте сейчас то же самое.

– Но тогда я лгал.

– А теперь не лгите. Вы притворялись влюблённым, теперь будьте влюблённым. Вы тогда знали, что она откроет окно. Теперь – не знаете. Вы тогда ждали результата. Теперь – ждите её решения. Да, повторите всё то же самое. Только без расчёта.

– А если она не ответит?

– Тогда вы узнаете, любите ли вы её на самом деле.

Он встал.

– Благослови вас Бог.

На следующий день он пришел. Дом был тёмный; в окнах – ни огня, ни движения. Он остановился на прежнем месте, у самой стены, где когда-то стоял, сжимая в кармане письма, полные скрытой лжи и расчёта. Он не знал, увидит ли она его. Не знал, читает ли она его мысли. Не знал, сколько вечеров это продлится. Он просто стоял. Прошёл час. Потом другой. Никто не открыл окно. Он замер и ушёл, не оглянувшись.

На второй вечер он пришёл снова. Иногда в окне зажигался свет – и гас. Иногда он различал тень занавеси. Он ждал, пока молчание станет честнее слов.

На третий вечер его заметили. Сначала – дворник, который посмотрел на него с подозрением. Потом – соседка, задержавшая шаг. Потом – случайный прохожий, который оглянулся. В Петербурге быстро замечают то, что повторяется.

На четвёртый вечер рядом остановился Томский.

– Чёрт возьми, Герман, – сказал он вполголоса, – это уже начинает походить на легенду. Полина мне всё рассказала, – сказал он. – Ты опять сошёл с ума.

– Возможно, – ответил Герман.

Ты понимаешь, что о тебе говорят? Что ты караулишь бедную девушку.

– Я никого не караулю, – спокойно сказал Герман. – Я просто стою.

Томский усмехнулся.

– Стоишь? Друг мой, в этом городе стоять под окнами – значит просить. А просить – значит унижаться.

Герман повернул к нему голову.

– Когда-то я унизил её, теперь я унижаюсь сам. Это справедливо.

Томский вздохнул.

– Послушай. Мы найдём тебе другую. Красивую. С приданым. С положением. Ты умён, ты не беден, ты загадочен – этого достаточно.

– Нет, – сказал Герман.

– Почему?

– Потому что, тогда я снова буду думать только о себе.

Томский внимательно посмотрел на него.

– Ты влюблён?

– Я отвечаю за то, что сделал, – сказал Герман. – Если это и есть любовь – пусть будет так.

– Она не выйдет за тебя, ты однажды ее жестоко обидел. Ты знаешь, что о тебе думают.

– Знаю.

– И всё равно стоишь?

Томский ушёл, пожав плечами.

А Герман остался.

Лиза знала, что он стоит. Она видела тень под окном. Она узнавала его шаги. И каждый вечер спрашивала себя: он снова играет – или впервые ждёт? На четвёртый вечер она закрыла занавесь и села за стол. Через четверть часа с подоконника упал на снег лист. Всего одна строка: «Вы можете войти, дверь не заперта».

И он вошел.

В передней было тихо. Та же лестница, те же стены.

Лиза ждала его в гостиной. Она стояла у стола, положив руку на спинку кресла, словно оставляя ему выбор – подойти или остановиться.

– Вы пришли, – сказала она. – Значит, не передумали. Садитесь.

Он сел, но не сразу. Сначала снял перчатки – медленно, как человек, который хочет показать: у него нет ни оружия, ни маски.

– Три вечера, – сказала Лиза, – вы стояли под моим окном. Как тогда, но без писем.
– Я не знал, что писать, – признался он. – Всё, что приходило в голову, казалось либо ложью, либо просьбой.

– А сегодня? — спросила она.

– Сегодня я пришёл сказать вам, что я вас люблю.

Она медленно прошла по комнате.

– Вы знаете, что я могла бы не открыть вам вовсе.

– Знаю.

– И что могла бы открыть – и отказать.

– Знаю.

– И всё же вы стояли.

– Потому что впервые в жизни я не знал, чем всё кончится.

Она остановилась напротив него.

– Вы сделали мне предложение на улице, – сказала она. – Тогда я не могла ответить.

Он напрягся.

– А теперь? – спросил он тихо.

Она сделала паузу – ровно такую, чтобы он понял: сейчас решается не его судьба, а её.

– Герман, – сказала она, наконец. – А теперь я говорю, да. И вы больше не будете стоять под моим окном.

– Почему? – спросил он, почти испугавшись.

– Потому что теперь, это будет ваш дом.

Когда он поднялся, чтобы проститься, ветер ударил в стёкла так резко, что Лиза невольно обернулась. Фонарь во дворе качнулся, свет его распался на дрожащие полосы, и снег пошёл не сверху вниз, а поперёк – густой и слепой.

– Началась настоящая пурга, – сказала она, подходя к окну.

Он тоже посмотрел.

– Я пойду, – сказал он, уже по привычке делая шаг к двери.

Лиза обернулась быстро, почти резко.

– В такую ночь? – она покачала головой. – Вы не дойдёте. Оставайтесь.

– Вы этого хотите? – спросил он тихо.

– Да, – ответила Лиза. – Я не хочу, чтобы вы снова стояли под окнами. Ни сегодня, ни когда-либо ещё.

Она позвонила.

– Приготовьте комнату для гостя, – сказала она вошедшей горничной. – И чай.

Он понял: это не уступка стихии, а продолжение того самого «да», только сказанного иначе. Иногда ветер так сильно бился в дом, что казалось – он тоже просится внутрь. Лиза сидела напротив, уже без напряжения, но всё ещё с осторожностью человека, который знает цену близости.

Они разошлись поздно.

Он прошёл в комнату для гостей, долго слушал, как воет пурга, и впервые за много месяцев заснул без тревоги.

Утром было тихим. Снег лежал ровно, как будто ночь ничего не разрушила, а только укрыла. Дом дышал покоем. Он вышел в гостиную и остановился.

Лиза стояла у окна с чашкой в руках, в простом домашнем платье. Она обернулась и улыбнулась – не как хозяйка, не как судья, а как женщина.

– Ты хорошо спал? – спросила она, подойдя совсем близко и поправляя его галстук.

Слово прозвучало естественно. Он даже не сразу понял, что она сказала – ты.

– Да, – ответил он после короткой паузы и обнял её. – Тогда... ты позволишь?

Она улыбнулась.

– Я уже позволила.

Они сели за стол. Горничная принесла завтрак. Снег за окном начал таять, и первые лучи солнца обещали хороший день.

Глава 30. Нежданный гость

Они венчались без пышности, тихо и строго. Ни Герман, ни Лиза не хотела толпы. Томский был здесь с Полиной, Нарумов, Сурин, несколько знакомых – без любопытства, без шёпота. Всё было почти скромно.

Это была церковь, где когда-то, много лет назад, крестили младенца с неопределённой судьбой. Теперь он стоял под тем же сводом, уже взрослый, и священник говорил слова, которые нельзя было отменить ни тайной, ни прошлой ошибкой.

Лиза стояла спокойно, с той ясностью лица, которая бывает у людей, не сомневающих больше ни в себе, ни в другом. Не торжественна – именно спокойна, как человек, который сделал выбор и больше не спорит с ним.

Герман же, принимая венец, вдруг ясно почувствовал: всё, что было в его жизни до **этого** дня, – страх, расчёт, безумие, ожидание – было лишь дорогой к этой минуте. Когда всё кончилось, он долго не выпускал её руки, словно боялся, что и **это** может оказаться сном...

Свадьбу играли в большом зале особняка графини.

Высокие потолки терялись в свете хрустальных люстр, зеркала удваивали огни свечей и отражали пёстрое собрание гостей. Стены, обитые светлым шёлком, были украшены гирляндами живых цветов; сквозь раскрытые окна тянуло **свежестью сада и влажным дыханием Невы**. На длинном столе – фамильное серебро, тонкий фарфор, вазы с фруктами и бутылки, уже запотевшие от холода.

Первым взял слово Томский. Он поднялся с бокалом шампанского, оглядел общество и, улынувшись с привычной иронической лёгкостью, сказал:

– Господа, если бы мне прежде рассказали, что Герман женится – да ещё по любви, – я бы принял это за анекдот. Но, к счастью, жизнь иногда оказывается умнее наших насмешек. Я пью за мужество: за мужество любить, за мужество отказаться от призраков и выбрать живого человека. И, разумеется, за Лизу, сумевшую сделать то, что не удалось ни одной карте в колоде.

Смех и аплодисменты разрядили торжественность. Заиграл оркестр – сначала негромко, будто осторожно примеряясь к настроению гостей. Подали уху в серебряных чашах, затем стерлядь под соусом, пироги с дичью, жаркое и, наконец, тот самый поросёнок с хрустящей корочкой, к которому гости возвращались охотнее прочих блюд. Вино лилось свободно; дамы позволяли себе шампанское, господа – мадеру и водку.

Тосты сменяли друг друга. Суров и Нарумов вспоминали службу и уверяли, что семейная дисциплина не менее важна, чем военная. Дама из близкого круга графини со слезами говорила о Лизе – о её терпении и тихой силе. Кто-то пожелал молодым спокойствия, кто-то – страсти, а кто-то, смеясь, желал им никогда не считать очки и не проверять судьбу на прочность.

Музыка становилась живее. После менуэта зазвучал вальс, и первые пары закружились по залу. Лиза, бледная и счастливая, танцевала с Германом; в его движениях ещё чувствовалась скованность, но в глазах – редкое для него спокойствие.

Ближе к ночи разговоры сделались тише, смех – свободнее, а свечи начали догорать.

Свадьба шла не шумно и не пышно, но с тем особым достоинством, когда праздник запоминается не блеском, а ощущением, что всё на своём месте – и люди, и слова, и музыка...

Дверь распахнулась, и дворецкий, заметно запнувшись, объявил:

– Господин Чекалинский.

По залу прошёл лёгкий ропот. Имя было известно, но появление его – здесь, сейчас, в день свадьбы Германа – казалось, по меньшей мере, странным. Сам Герман побледнел: уж кого он никак не ожидал увидеть среди приглашённых, так это Чекалинского.

Между тем незванный гость уверенно прошёл к столу, словно был здесь хозяином, и приветливо улыбнулся. Голова его была покрыта серебряной сединой; полное, свежее лицо с густой чёрной бородой и усами дышало добродушием и самодовольством человека, привыкшего производить впечатление. Он слегка поклонился молодым и сказал с мягкой, почти отеческой теплотой:

– Дорогой Герман, прими мои поздравления с бракосочетанием. Признаюсь, я одобряю твой выбор. – Он сделал паузу, позволяя словам подействовать. – И прошу разрешения вручить тебе мой скромный подарок.

С этими словами он поставил на край стола кожаную сумку, открыл её и, не церемонясь, отодвинул блюдо с жареным поросёнком. На скатерть легла плотная пачка кредитных билетов. В зале послышались удивлённые возгласы; кто-то даже привстал. Чекалинский поднял руку, призывая к тишине.

– Господа, прошу, без волнений. – Он говорил спокойно, с лёгкой усмешкой. – Мне стало доподлинно известно, что в ту злополучную игру Герман не ошибся. Он показал пиковую даму не по безумию и не по прихоти судьбы, а проиграл вследствие самого обыкновенного жульничества.

Он взглянул прямо на жениха.

– Дорогой Герман, я возвращаю тебе твой выигрыш. Надеюсь, этих денег хватит на ваше свадебное путешествие. А во время него вы, разумеется, заглянете в Париж – где ты, наконец, наведишь своего отца графа Сен-Жермена, который, признаюсь, стал причиной твоего безумия куда раньше, чем пиковая дама.

В зале повисла тишина. Чекалинский вдруг рассмеялся и, обращаясь к гостям, добавил:

– Кто же будет менее рад этой встрече, чем граф Сен-Жермен, жаждущий немедленно и по-отцовски обнять своего сына?

С этими словами он неторопливо отклеил бороду и усы, снял седой парик – и перед ошеломлёнными гостями предстал знаменитый француз, тот самый человек, который некогда в Париже открыл графине – матери Германа роковой секрет трёх карт.

Аплодисменты раздались сами собой. Герман, совершенно растерянный, поднялся со своего места. Мир вокруг будто пошатнулся: прошлое, тайна, безумие и случай вдруг сошлись в одном мгновении. Под шум одобрения и удивления он шагнул навстречу и обнял отца.

Слуги поспешно принесли стул и приборы. Сен-Жермен, уже без тени маскарада, убрал деньги со стола и повесил сумку на спинку стула Германа.

– Жареный поросёнок, – заметил он с удовлетворением, – моё любимое блюдо. А теперь, господа, прошу водки.

Он встал, поднял рюмку и оглядел гостей – взглядом человека, видевшего слишком многое, чтобы говорить пустые слова.

– Я пью, за то, чтобы карты больше никогда не решали судьбу моего сына. Пусть в его жизни отныне будут лишь честные ставки: труд, любовь и верность. За то, чтобы прошлые ошибки стали лишь уроками, а не проклятиями. И за то, чтобы в этом доме всегда выигрывали – не деньги, а счастье.

Он выпил, зал ответил дружными аплодисментами, и празднование продолжалось...

Когда гости разошлись, дворецкий доложил, что спальня готова, но Герман отказался идти в покои графини. Он не мог переступить порог комнаты, где прошла та страшная ночь и где воспоминания ещё были слишком живы. Его просьбу приняли без расспросов, и им приготовили спальню Лизы – её прежнюю, светлую комнату с окнами в сад.

Свечи уже горели, постель была убрана свежим бельём, в воздухе стоял слабый запах цветов. Лиза сняла венок, положила его на столик и отошла за ширму, где, не спеша, переодевалась, пока Герман стоял у окна и смотрел в тёмный, затихший сад. Он слышал лишь шорох ткани и чувствовал, как с каждой минутой уходит напряжение прошедшего дня.

Они легли рядом. Герман, прислушиваясь к её ровному дыханию, вдруг ясно понял, что эта ночь – не продолжение кошмара, а его конец. Карты, страх, роковая тайна остались по ту сторону двери. Здесь же была только тишина, тепло и простая, человеческая близость.

Свечи погасли сами. За окнами шептался сад. Так началась их жизнь – без призраков прошлого и с надеждой на будущее.

Глава 31. Возвращение пиковой дамы

А утром их ожидал еще один сюрприз. В дверях показался посыльный.

– Для госпожи Лизы и господина Германа, – сказал он, протягивая свёрток.

Лиза развернула его.

– Герман, смотри, что нам принесли! Это – журнал «Библиотека для чтения», номер два. И в нем повесть Пушкина «Пиковая дама». Что-то еще. О, тут карта – Пиковая дама. Это та самая карта, которая была у тебя в руках во время той игры. Она вернулась. В рамочке и под стеклом. Значит, Пушкин решил с ней расстаться!

– Господин Пушкин не смог прийти лично, – сказал посыльный. – Но просил передать, что история, рассказанная ему, не должна была пропасть. И он надеется, что теперь она окончена.

Герман взял в руки журнал.

– Нет, – сказал он тихо, – Теперь она только началась.

Лиза посмотрела на него и улыбнулась.

– Но уже не как игра, – добавила она.

За завтраком Герман сказал:

– Лиза, теперь, я должен тебя кое о чем спросить.

– О чём?

–Куда ты хочешь поехать в свадебное путешествие?

Он стал перечислять – осторожно, будто проверяя, не навязывает ли свою волю: Париж, Италия, может быть Крым. Он говорил – а сам наблюдал за её лицом.

Лиза слушала, не перебивая.

– Нет, – сказала она, наконец. – Я хочу в другое место.

Он удивлённо посмотрел на неё.

– В Германию, где прошло твоё детство. В тот город. И в тот дом, который ты считал родительским.

– Там... нечего смотреть.

– Именно поэтому, Я хочу увидеть тебя таким, каким ты был, когда ещё ничего не знал и ничего не требовал.

Он помолчал, потом кивнул.

– Хорошо. А «Пиковую даму» возьмем с собой. Будем в свободное время читать вслух...

Город детства оказался меньше, чем он помнил.

Или, может быть, он просто вырос. Улицы были узкие, дома – низкие, и всё казалось чуть сдвинутым, как воспоминание, которое долго носили в себе. Дом стоял на прежнем месте. Он остановился перед ним и не сразу решился войти.

– Здесь я жил, – сказал он. – Я думал, что это родительский дом. Здесь меня учили читать и писать. Здесь мне впервые сказали, что я должен всего добиться сам.

Лиза слушала, не задавая вопросов.

– Я был благодарен, а потом понял, что благодарность – это тоже форма зависимости.

В тот же вечер он встретил одного из приятелей.

– Герман! Не может быть!

Это был Карл – приятель, с которым они когда-то делили книги и первые мечты.

– Ты вернулся? – Карл смеялся, тряся его за руку. – Да ещё и с супругой?

Он поклонился Лизе.

– Вы приехали вовремя, – продолжал он, – послезавтра моя свадьба. Приходите!

– С кем? – спросил Герман, уже зная ответ.

– С Терезой.

Он посмотрел на Лизу. Она не отвела взгляда.

– Мы придём, – сказала она за него.

Тереза изменилась.

Она стала спокойнее, строже, красивее какой-то иной, взрослой красотой. Когда она увидела Германа, то не вздрогнула и не побледнела – лишь слегка улыбнулась, как человеку, которого давно простила.

– Я рада, что вы приехали, и что вы счастливы.

Лиза заметила: она не сказала «что вы вернулись».

На свадьбе всё было просто. Без лишних слов, без недосказанностей. Тереза смотрела на своего жениха с уверенностью человека, который дождался – но не напрасно. Позже, когда музыка стихла, она подошла к Лизе.

– Герман был моей первой любовью, – сказала она без вызова. – Но не моей судьбой. Вы – его судьба. Это видно.

Лиза кивнула.

– Спасибо, – сказала она. – За то, что вы его отпустили.

– Я не отпускала, он ушёл сам...

Возвращались они поздно.

– Ты не ревнуешь? – Он взял её руку.

– Нет...

«Пиковую даму» читали по очереди, не спеша.

– Смотри, Герман, Пушкин меня назвал бедной воспитанницей, робкой, безответной. Это неправда.

– Не совсем, – сказал Герман.

– Нет, неправда, – упрямо повторила она, – он делает из меня тень. Я была компаньонка и получала зарплату. Это надо поправить. А тебе приписал три злодеяния. Слушай: «Этот Германн, – продолжал Томский, – лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести, по крайней мере, три злодеяния.» Ну-ка, признайся, что за злодеяния?

– Это вранье надо убрать! И зачем он сделал Томского внуком графини? Это тоже неправда.

– Ты слишком многого хочешь. Это ведь художественная книга, а не протокол.

– И он нередко путается во времени. Недаром в повести нет ни одной точной даты. И в подробностях. Некоторые вещи просто не могли происходить так, как он пишет. И вот это зачем? Четыре сына у графини. К чему они? Их же нет в истории. Они нигде не действуют, ни на что не влияют. – Герман усмехнулся. – Я понял, затем, чтобы ни один настоящий сын не узнал себя.

Лиза посмотрела на него.

– Ты думаешь...?

– Я уверен, один сын – слишком прозрачно. Два – уже риск. А четыре – расплывчато. Никто не скажет: «Это я». Никто не пойдёт жаловаться. Ни в цензуру, ни в суд. Он постучал по журналу.

– Пушкин опытный писатель. Он пишет о живых людях так, чтобы каждый мог себя узнать – и никто не мог доказать.

– Значит, он нарочно ошибается?

– Не ошибается, он страшется.

Они снова замолчали. За окном медленно темнело, и шум улицы доносился глухо.

– Всё равно, – сказала Лиза тише, – мне не нравится, как он меня понял.

Герман кивнул.

– А мне – как он понял меня.

Он закрыл журнал

– Самое любопытное, что он остановился ровно там, где история только начинается.

После этого, всё было куда сложнее. И важнее.

Она посмотрела на него внимательно, словно впервые увидела в нем не персонажа, а человека. – Тогда, – произнесла она медленно, – нам стоит с ним поговорить.

– С кем?

– С Пушкиным.

Герман задумался.

– Он все может исправить?

– И продолжить, – добавила Лиза, – но лучше, чтобы продолжение он услышал от нас самих. Мы напишем обо всем, что произошло после Обуховской больницы и отнесем к нему.

О смерти Пушкина Герман узнал на улице. Сказали это вполголоса, не ему, а рядом, – и он услышал раньше, чем понял. Имя прозвучало просто, без эпитета, и от этого сделалось холоднее, чем от ледяного ветра.

Он купил «Санкт-Петербургские ведомости» от 31 января 1837 года и прочел: «Вчера, в 3-м часу пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин».

Они опоздали.

Эпилог

Когда Герман и Лиза подошли к дому на Мойке, на улице едва оставалось свободное место. Снег под ногами был тяжёлый и серый, словно сам город дышал зимней усталостью. Людей было много, но говорили почти шёпотом, и воздух казался неподвижным, густым от печей и угля. Ветер скользил по крышам, принося запах сожжённого угля, а колокола собора звучали далеко, торжественно, протяжно, словно отсчитывая последние минуты.

Они стали у ограды, рядом с Евгением Онегиным. Лиза узнала его с трудом: он постарел, шляпу держал обеими руками, взгляд опущен, будто проверял, не растворится ли вместе с домом всё, что там осталось. А Татьяна Ларина стояла рядом, и Лиза видела, что она по-настоящему плакала, прижимая к груди маленький молитвенник. Голова слегка опущена, плечи дрожали, и на несколько секунд казалось, что дыхание замерло вместе с ней.

Потом к крыльцу подошёл Пётр Гринёв, перекрестился, снял фуражку, тихо постоял на ступеньках, и ушёл, словно стараясь не потревожить тишину. Владимир Дубровский держал в руках свечу, взгляд его не отрывался от дверей – казалось, он выжидал чего-то невозможного.

Иван Петрович Белкин стоял в стороне, руки сложены за спиной, взгляд прикован к дому. Всё в нём было спокойно и строго, как будто он запечатлевал происходящее, чтобы потом рассказать Сильвио, Дуне Выриной и Адриану Прохорову. Подошли полковник Бурмин с

Машей. Он снял перчатку и положил её на нижнюю ступеньку крыльца. Несколько секунд постоял, затем отошёл, а перчатка осталась на снегу – тёмная, простая метка прощания.

Кто-то кланялся, кто-то перекрещивался, кто-то шептал слова, которые Лиза не расслышала. Скрип саней, мягкое мерцание свечей в окнах, приглушённый шум шагов по снегу – всё это создавалось впечатление, что весь город пришёл проститься. Снег под ногами сжимался от каждого шага, будто хранил память о человеке, которого больше не будет.

– Герман, – шепнула Лиза, сжимая его руку, – все они пришли сказать последнее «спасибо», и каждый сделал это по-своему.

Герман взглянул на дом, на людей, и впервые ощутил, что слова больше не нужны. Всё, что осталось, было в этом прощании, в этом воздухе, в каждом шаге.

Снег, свет свечей, и скрип шагов слились в одно – в последний поклон города перед Пушкиным. Казалось, сам воздух стал хранителем его слов, и мир на мгновение замер, чтобы запомнить всё, что он оставил.

И в этой тишине осталась только память – светлая, вечная и непостижимая, как сам Пушкин.